

И.В. Торгов

ПЕРЕЖИТОЕ (отрывки)*

ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СНОВА

Надо было устраиваться на работу. Таковая быстро нашлась, на Казанской меховой фабрике требовались химики-аналитики, и меня приняли без разговоров, несмотря на мое пребывание в тюрьме НКВД.** Да много было таких, как я, где уж тут разбирать и проявлять бдительность! Началась рутинная жизнь, жизнь маленького человека на сверхскромной зарплате, иногда – вечер у знакомых, очень редко – кино, еще реже – интересная книга. Едва ли бы я удовольствовался такой жизнью долгое время, конечно, я начал бы что-то искать, может быть, даже уехал бы из Казани искать счастья в дальних краях. Но тут неожиданно произошел поворот, совершенно изменивший мой жизненный путь, и этим я обязан моему другу Славе Галикееву.

Дня через два после похорон моей матери он встретил меня на улице, подошел ко мне с некоторым колебанием (как он потом признался) и выразил свое соболезнование. Я был искренне рад этой встрече. Он рассказал мне, как его арестовали, избивали и как он сожалеет об исторгнутых под пыткой показаниях. Чего тут жалеть, я был в таком же положении, и тысячи других тоже. Наша дружба, и еще теснее, чем раньше, возобновилась.

Однажды (это было в июне 1939 г.) Слава пришел ко мне с предложением подать заявление в аспирантуру Академии наук. Предложение вначале мне показалось абсолютно нереальным, ведь там, должно быть, громадный конкурс, да и подготовка в московских институтах все же выше. «Не боги горшки обжигают», – ответил на мои сомнения Слава, и эта простая фраза убедила меня больше, чем длинная цепь логических рассуждений. Бывают в жизни поворотные моменты, которых вначале даже не различаешь, и только потом узнаешь их значение. Таким моментом и был мой разговор со Славой, и его совету и убеждениям я благодарен на всю жизнь.

Мы оба начали готовиться. Должно было быть три экзамена: по специальности (то есть по органической химии, так как я решил подавать заявление в Институт органической химии; Слава направил заявление в Институт горючих ископаемых), по иностранному языку и по «закону божьему», то есть по истории партии. Не без основания я сразу решил, что последний экзамен будет решающим, и начал штудировать «Вопросы ленинизма» и «Краткий курс истории ВКП(б)» – отвратительные и лживые книжки, которые, однако, надо знать (как и «Мою борьбу»), ибо они раскрывают психологию и вождения дьяволов XX века – Сталина (и Гитлера). Органической химии я не боялся, надо было лишь восстановить в памяти кое-какие разделы. С немецким языком было еще проще: либо его знаешь, либо нет, а я чувствовал, что аспирантским требованиям мои знания соответствуют.

Не так много оставалось времени для подготовки – всего два месяца, а ведь была еще и работа, из шести дней (тогда была еще входу «шестидневка») лишь один был свободный. Но забот было немного, питание для холостяка – не проблема и занимало в день отсылу полчаса, а остальное свободное время можно было потратить на «грызение гранита науки».

* Из книги: И.В. Торгов «Пережитое». М.: Хронограф, 2014.

** Второй раз И.В. Торгов был арестован НКВД в июне 1938 года и освобожден в апреле 1939 года

... В начале августа приходит приглашение от АН СССР явиться на экзамены, и в середине августа мы отправляемся в Москву. Первый экзамен по «закону божьему», как я и думал, оказался самым трудным. Вроде я ответил на все вопросы, но по непроницаемому лицу экзаменатора не мог заметить, удовлетворен он или нет. Через несколько часов мне удалось узнать у секретарши (хотя она была обязана хранить тайну), что мне поставили «четыре». Я был безгранично рад и в таком радостном настроении отправился на следующий экзамен сдавать немецкий язык, опять получил «четыре». Две четверки не представляли ничего особо обнадеживающего (кстати, Слава получил такие же отметки), но я надеялся отыгаться на органической химии.

Так оно и оказалось. В комиссии было трое: А.Н. Несмеянов (тогда член-корреспондент АН СССР), профессор А.Д. Петров и, кажется, академик А.П. Орехов. После обычных вопросов: «Что кончили? Какова была тема вашей дипломной работы? Кто был руководитель?» и т. д. Александр Николаевич спросил: «А что вы лучше всего знаете из органической химии?» Я ответил, что мне трудно это сказать, но я очень люблю химию алкалоидов. «Хорошо, тогда напишите несколько алкалоидов и расскажите о них». Помню, я написал хинин, синтез никотина, лобелина и, кажется, пилокарпина. Члены комиссии быстро просмотрели мои схемы и объявили экзамен оконченным. Результат – круглая пятерка. Много лет спустя Александр Николаевич вспомнил этот экзамен и оценил его как выдающийся.

Этот экзамен решил все, и я был принят в аспирантуру. Формально, однако, зачисление было проведено в октябре, а после экзаменов мы отправились домой в Казань. Сейчас не помню точные даты, но последний экзамен совпал с заключением злодейского советско-германского договора и с приездом Риббентропа. Это было и для меня, и для Славы как удар грома. Вся внешняя политика за последние 6-7 лет круто менялась на 180 градусов: прежний агрессор, враг идеологический и политический, вдруг стал другом, а франко-русский пакт оказался разорванным в клочки. За круглыми дипломатическими формулировками «советско-германского договора о ненападении» я угадывал грозный смысл. Германия получила свободу рук, и она этим сразу же воспользуется! Эта мысль, чрезвычайно простая, возникла у многих, вихрем пронеслась по городу и вызвала чувство, близкое к панике. На вокзалах возникли длиннейшие очереди, давка, все командированные спешили вернуться домой, мало ли что может случиться. Мы со Славой не могли достать билеты в Казань, и только с большим трудом нам удалось получить их в Горький. Из Горького мы уехали в Казань пароходом.

Уже на пароходе мы узнали о вторжении в Польшу, о всеобщей мобилизации в Англии, Франции, Бельгии и Голландии. По приезде в Казань стало известно об английском (и затем французском) ультиматуме и официальном объявлении войны, Второй мировой войны.

Казань была охвачена тревогой. Из магазинов быстро исчезли сахар, конфеты, масло, мыло, крупы, что я сразу почувствовал. Помню, в лаборатории я отыскал банку с глюкозой и немедленно ее конфисковал. Но военные комиссариаты были спокойны, никакой мобилизации не было, правда, «проскакивали» отдельные повестки офицерам в запасе, но это бывало и раньше.

... В октябре 1939 года меня известили письмом, что я принят в аспирантуру и должен приступить к занятиям. Славу не приняли (сказался конкурс, и по «спецпредмету» он получил всего лишь среднюю отметку). Я быстро оформил увольнение ... и уехал в Москву. Началась другая эпоха моей жизни.

В Москве с общежитиями было туго, и нас, вновь принятых, временно (оказалось на весь осенне-зимний сезон) поместили в дачном поселке на станции Удельная. Это было неудобно, так как приходилось тратить полтора часа на поездку в институт в одном

направлении. Дом, где я поселился, был бревенчатой избой, не очень хорошо утепленной, но уютной. Нас в комнате было трое: Леня Бреховских (Леонид Максимович Бреховских стал академиком в 1968 году и академиком-секретарем Отделения океанологии, физики атмосферы и географии), Немировский из Ленинграда, оба физики, и я, химик-органик. Естественно, мы быстро сошлись и не скучали по углам. Самым разговорчивым был Немировский, не было темы, в которой бы он не принимал живого участия. Он прекрасно знал физику и математику, читал по-английски, по-французски и по-немецки и был довольно широко исторически и литературно образован. В отношении жизни у него, конечно, опыта было меньше, чем у меня, но в политике он разбирался, и мы понимали друг друга с полуслова. Бреховских был куда более сдержан, но товарищем был отличным.

В Институте органической химии, куда я был зачислен аспирантом, у меня в течение двух месяцев было довольно неопределенное положение. Я выразил желание поступить в лабораторию профессора Н.А. Преображенского, чьи синтетические работы в области алкалоидов привлекали и восхищали меня. Однако, дирекция не была склонна пойти навстречу моим желаниям, поскольку (это мне стало ясно позже) имела в виду освободиться от товарища Преображенского и закрыть его лабораторию. Мне предложили работать у Баландина, известного специалиста по катализу, но темы гидрирования и дегидрирования непредельных углеводородов, кетонов и альдегидов меня не привлекали; здесь не было химического блеска, как мне казалось. Окончательно я укрепился в этом мнении после разговора с Сагидом Рафиковым, который был уже аспирантом второго года.

Сагид Рафиков поступил в аспирантуру в 1938 году, но его отъезд из Казани, как он мне рассказывал, произошел еще до объявления набора аспирантов и скорее походил на бегство. У него был широкий круг знакомых, в том числе и такие, которые были связаны с НКВД. И вот в один далеко не прекрасный день ему сообщили, что он, по всем данным, внесен в список бывших студентов Химико-технологического института, подлежащих аресту (я в этом списке уже был). Не теряя времени, он отбыл в Москву, где его следы, по крайней мере в первые месяцы, затерялись. Когда же он сдавал экзамены и был зачислен (август-сентябрь 1938 года), положение Ежова пошатнулось, и ситуация изменилась. Я тоже пытался, как упоминал выше, переменить место работы, но действовал медленно и нерешительно.

Мое нежелание стать катализатором было учтено дирекцией, и меня направили к Ивану Николаевичу Назарову, тогда еще молодому кандидату наук, назначенному заведовать небольшой лабораторией винилацетилена. Моя встреча с ним осталась до сих пор одним из самых замечательных событий в моей жизни. Он сумел развернуть передо мной такую увлекательную картину химических превращений винилацетилена и его соединений, что я стал навсегда энтузиастом органического синтеза и «назаровцем». Дал он мне тему «Конденсация диметилацетилкарбинола с винилацетиленом». Теме-то была цена грош, но не в этом дело. Когда А.Е. Фаворский поручил аспиранту И.Н. Назарову исследовать конденсацию винилацетилена с кетонами, то это тоже была почти грошовая тема. Однако, Иван Николаевич сумел развить ее в первоклассное исследование, увенчавшееся защитой докторской диссертации в 1940 году.

Не буду описывать, как начиналась моя работа, какие были химические трудности и перипетии. Могу сказать только, что атмосфера в лаборатории была прекрасная, дружественная, все работало с увлечением, хотя и неторопливо. Непосредственно на эксперимент у меня было мало времени, так как были лекции, занятия по немецкому и английскому, семинары по философии и еще невесть что. Но когда я становился к столу, то работал до позднего вечера. Транспорт, то есть поездки в Удельную, был помехой, тем

более что зима 1939-40 годов была на редкость холодной, температура –30-40 градусов была обычной, а иногда снижалась до –46-47 градусов. Теплового пальто у меня не было, на плечах висела какая-то шинелишка (только в феврале 1940 года я купил теплое пальто), я здорово мерз и часто простужался. Питались мы, аспиранты, хорошо: в Москве снабжение было отличное, не в пример Казани. Мы получали 400 рублей в месяц, масло стоило 20 руб/кг, сахар – 5 руб/кг. В продаже всегда была черная и красная икра, сельдь «иваси», которую мы очень любили, и другая, не менее вкусная снесь.

... Май 1940 года выдался прекрасным. Моя аспирантская жизнь проходила спокойно и даже приятно. В апреле я покинул свою избушку в Удельной и переселился в большой современный дом на Б. Калужской (сейчас проспект Ленина) на 10-й этаж. Там был газ, ванная, небольшие смежные комнаты на 2-3 человек. Появились новые знакомые, новые интересы. До института было 10-12 минут ходу, напротив нашего дома гостеприимно раскрыл свои ворота крупнейший в городе Парк культуры им. Горького; условия для учебы и отдыха во всех отношениях оказались прекрасными. Мои занятия шли без сучка и задоринки, зачеты и экзамены я сдавал только на 5. Экспериментальная работа проходила хотя и медленно, но удовлетворительно. Но мой разум и чувства откликнулись, резонировали на европейские события, заставляли меня переживать.

А на Западе разразилась гроза. 10 мая немцы перешли в наступление через Бельгию и Голландию. Помню, 14 или 15 мая во второй половине дня я сидел один в небольшой аудитории, помещавшейся в полуподвале и использовавшейся для заседаний ученого совета и лекций. По радио передавали последние сообщения о военных действиях на Западе, и я с ужасом внимал: «... немецкие танковые дивизии форсировали Маас ... германские войска заняли Лаон ... этот город был оставлен французами без боя ...». Вся карта северной Франции предстала передо мной (я хорошо помнил ее, когда читал историю Первой мировой войны), и я понимал, что это разгром. Разум пытался зацепиться за какую-то надежду, не может быть, чтобы зло, дьявольское зло нацизма, торжествовало на этой земле!

Через 2-3 дня французское радио объявило, что генерал Гамелен смещен с поста главнокомандующего, вместо него назначен генерал Вейган, один из самых способных генералов Первой мировой войны. Может, будет какая-то перемена? Тщетно! Через день немецкое сообщение: «9-ая французская армия (прикрывавшая Париж) разбита и рассеяна; ее командующий генерал Жиро взят в плен». И еще через 2-3 дня: «... немецкие войска взяли Аррас, Амьен и Абвиль ...» Еще через день: «... немецкие войска достигли Ла-Манша. Англичане бегут в Англию, в Ла-Манше потоплено большое количество транспортов ...» Союзные армии оказывались разрезанными на две части.

... Ну а моя аспирантская жизнь мирно продолжалась. 14 июня нацисты вступили в Париж, а 17 июня я благополучно сдал экзамен по философии. Завязывались новые знакомства, возникали дискуссии ... На нашем «10-м этаже» мы довольно часто устраивали вечеринки, разумеется, с приглашением девушек, таких же аспирантов, как и мы, или научных сотрудников. Готовили глинтвейн на основе хорошего грузинского вина («Цинандали» или «Напареули»), немного коньяка, апельсинов, лимонов, сахара и всяких специй. Водки и крепких напитков не признавали. Танцевали под патефон до часу ночи и удовлетворенные расходились. Туристские походы, мирные вечеринки, иногда театр или концерт – вот такая была аспирантская жизнь.

Нельзя сказать, что мы не реагировали на происходящее вокруг. Конечно, открытой критики властей не было, иногда баловались анекдотами, сдержанно приняли оккупацию прибалтийских государств в июле 1940 (после поражения Франции ничто уже не мешало их проглотить) и Молдавии, но «битва за Англию» вызывала у всех напряженное внимание. Немецкие сводки захлебывались от восторга, описывая налеты на Лондон, где

«отдельные пожары сливались в сплошное море огня». Еще большую радость вызвала у них трагедия Ковентри в октябре 1940 года. Наши газеты публиковали как немецкие, так и английские сводки без особых комментариев.

... Наступил 1941 год. Я вместе слевой Декабрином и еще несколькими туристами встретил его за городом в лесу близ станции Турист. Ночь была ясная, морозная (-25-27 градусов), мы развели большой костер, откупили шампанское, прокричали «Ура!» и устроили танец дикарей. Ночевали мы на одной даче, которую арендовали вскладчину на целую зиму. Лыжные походы были еще не в моде, но катание с гор было нашей страстью. Каждое воскресенье (тогда уже была восстановлена нормальная неделя вместо глупой «шестидневки») мы уезжали в Турист. Тогда же я познакомился с семьей Салтыцких, которые жили на 5-м Донском, почти рядом с нашим домом. Конечно, главная персона в семье была Ирина, единственная дочь, работавшая в Институте автоматики (отсюда ее знакомство со Львом и потом со мной), веселая и умная девушка, сразу вызвавшая во мне нежную симпатию. Помню, что и там мы (в дополнение к вечеринкам в общежитии) веселились беззаботно и танцевали допоздна. Может быть, даже чересчур веселились и более чем часто.

Трудно сказать, предчувствовали мы или нет надвигающуюся войну. Англия держалась, Америка с выгодой продавала ей оружие; правда, после перевыборов Франклина Рузвельта на новый срок и после долгих дебатов в Конгрессе в марте 1941 года вступил в действие закон о ленд-лизе. Япония в марте заключила договор с СССР о дружбе и ненападении. Формальная логика говорила о том, что у Германии дел по горло в Атлантике и Африке (о партизанском движении в Польше и Франции наши газеты не сообщали, а силы де Голля были ничтожны), и, следовательно, ей невозможно вести войну на два фронта. Советско-германские отношения продолжали оставаться дружественными, но в газете «Труд» (то есть не в официальной печати) появилась корреспонденция из Лондона, по существу хвалебная для защитников британской столицы, а немного позже – ряд статей Лиона Фейхтвангера о предвоенной Франции и ее поражении, причем тон повествования был явно антигерманский. Однако, внешне все было спокойно и даже «слухов» почти не было. От Немировского я, правда, слышал, что «от Гамбурга осталось одно воспоминание», но не верил этому.

... Помню, в это время у нас на 10-м этаже велись жаркие дебаты: что будет дальше? Больше всего меня поражали высказывания Декабуна, сводившиеся к тому, что немцы действуют правильно, а эти «сволочи англичане» ничего не умеют (в военном смысле), да и ничего не смогут сделать. Это была довольно прозрачная апология всей немецкой, а стало быть, нацистской политики, которую я решительно отвергал из моральных соображений. Правда, когда меня кто-то спросил о том, что будет при столкновении нашей армии с немецкой (вопрос был задан наедине, конечно), то я, не колеблясь, ответил: «От нас полетят пух и перья». Но дело было не в специализированной оценке немецкой военной машины, а в том, что Лев восхищался (и склонялся) перед ее силой и дисциплиной (нашу армию он оценивал низко), а мне она была отвратительна, и я приветствовал всякую другую силу (пусть неумелую и малую), которая ей противодействовала.

14 июня 1941 года мы прочли в газетах сообщение ТАСС: «... по данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским

отношениям». Как мы узнали потом, буквально до последнего часа власти отправляли в Германию зерно, хлопок, медь и другие материалы, «свято выполняя торговый договор».

ВОЙНА

14-15 июня мы были в туристском походе где-то между Солнечногорском и Яхромой, вернулись усталые и довольные ... Неделя прошла как обычно в работе и подготовке к экзаменам. В воскресенье 22 июня утром я занимался органической химией, Лева в другой комнате сидел за математикой, был кто-то еще. В начале первого часа мы услышали хлопанье входной двери, в квартиру вбежал один из наших друзей, Вова Бельинский, и закричал: «Что вы здесь сидите?» И на возмущенную реплику «Что орешь?» он разом выпалил: «Немецкая авиация бомбардировала Киев, Одессу, Минск и Ленинград. Немецкий посол фон Шуленбург вручил Молотову ноту с объявлением войны!» Лева чуть не задохнулся от возмущения: «Если это глупая шутка, то, знаешь, за такое морду бьют!» Ответом было: «Да что вы радио не слышали? Сидите здесь как крысы!»

Так для нас началась война. Началась всеобщая мобилизация (первым ее днем считалось 23 июня), но глава правительства хранил молчание. Было объявлено, что организованы фронты Северный, Западный и Южный и командующими назначены Ворошилов, Тимошенко и Буденный, однако, главнокомандующий назван не был. ... Все ждали каких-то правительственных заявлений. Молчание Сталина вызвало глухие и неблагоприятные толки, и вот впервые через 11 дней после начала войны это молчание было нарушено. Я помню его срывающийся голос и необычное начало обращения: «Дорогие братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!» ... 2 июля я зашел к Салтыским, и Ирина мне доверительно сказала (а это означало, что новость известна многим и распространяется по Москве со скоростью света), что «наркоматы эвакуируют». Так оно и было. Дня через два-три в Институте органической химии все узнали, что составляются списки на эвакуацию. Называли место: Свердловск или Казань.

Было объявлено об организации «народного ополчения», и туда начали посылать массы «добровольцев». Хотя я пишу слово «добровольцев» в кавычках, но очень многие, может быть, большинство, действительно чувствовали себя обязанными встать на защиту страны. Это мероприятие, как выяснилось вскоре, было совершенно непродуманным и носило больше демагогический характер. Даже для регулярных частей, организуемых по мобилизационному плану, часто не хватало оружия, тем более его не хватало для ополченцев. Я узнал (много позже, конечно), что в отрядах ополченцев приходилась одна винтовка на трех-четыре бойцов. Тем не менее, их бросали в бой, где они гибли в ужасающем числе из-за полного отсутствия боевого опыта и современного оружия.

Меня тоже послали записаться в «добровольцы», но когда я увидел, какая неразбериха и толкотня царит в военкомате, я предпочел не лезть на рожон и удалился. А еще через пару дней заместитель директора Владимир Иванович Иванов собрал всех сотрудников, объявил, что мы эвакуируемся в Казань, и зачитал список эвакуируемых, где оказался и я. Начался лихорадочный сбор реактивов, посуды, оборудования, их упаковка, перевоз на станцию. Нам дали понять, что переезд будет не на какой-нибудь месяц или два, а на гораздо больший срок. И действительно, институт возвратился в Москву лишь летом 1943 года.

Мы выехали из Москвы товарным эшелоном, везшим оборудование и реактивы; другая часть сотрудников уехала пассажирским поездом. Наш эшелон двигался медленно по однопутной казанской дороге, которая была забита воинскими составами. Только на шестой день мы прибыли в Казань.

Лаборатории института расположились в помещениях Бутлеровского института,

директором которого был академик А.Е. Арбузов. Было тесно, электроэнергии не хватало, но все же наша лаборатория (И.Н. Назарова) уже в сентябре приступила к работе. Помню, мне удалось сделать три или четыре синтеза, которые потом стали предметом научной статьи. Но в начале ноября меня призвали в армию.

... Как это ни странно, но именно обладание «белым билетом» обусловило мою мобилизацию. В 1933 году после студенческого лагерного сбора я прошел комиссию, которая единогласно признала меня непригодным к военной службе по причине слабого зрения (левый глаз у меня имел не более 5% зрения, а правый – около 40%). Я был этому очень рад, так как никогда не любил военной муштры и узаконенного хамства. Как обладатель «белого билета» я не был взят на учет и, следовательно, не получил академической «брони». Но в сентябре 1941 года все «белобилетники» должны были пройти новое переосвидетельствование; прошел его и я. Меня зачислили в разряд «условно годных к военной службе», что фактически означало мобилизацию, так как огромные потери на фронте побудили правительство «подчищать все резервы». Фактически это было начало «тотальной мобилизации», к которой Германия прибегла только в июле-августе 1944 года. 5 ноября 1941 года, получив направление, я поехал на станцию Канаш и оттуда зашагал в расположение сформировавшегося в нескольких километрах от Волги отдельного саперного батальона 1260 ...

... В августе 1944 года меня направили в распоряжение 2-го Белорусского фронта. Я оказался под Белостоком ... В Польше я пробыл два месяца, сентябрь и октябрь, когда военных операций на 2-м Белорусском фронте практически не было. Меня назначили начальником фронтовой химической лаборатории (была такая), состоявшей из грузовика автобусного типа, набитого реактивами и несложной аппаратурой, шофера и еще одного рядового. Мы расположились в польском фольварке, где в небольшой избенке я разместил мое нехитрое подразделение. Задачей лаборатории было быстро давать ответы на запросы штаба, касающиеся химической обороны и деталей трофейного химического оборудования. Один такой запрос мне запомнился: командование получило информацию, что в немецких трубочках для обнаружения отравляющих веществ имеется реагент, содержащий золото, и надо было определить его количество. Задача была интересна с точки зрения аналитика. Мне пришлось вспомнить многое из аналитической химии, приготовить реактивы и провести достаточно непростое количественное определение. Золото, действительно, в этих немецких трубках было, но в таких мизерных количествах, что вызвало, я думаю, разочарование у командования. Одной из проблем, с которой при этом мне пришлось столкнуться, была проблема дистиллированной воды, расход которой оказался необыкновенно большим, а ведь получать ее мне пришлось в полевых условиях не без труда и, во всяком случае, при затрате многих часов.

СНОВА МОСКВА. ПОСЛЕВОЕННЫЕ СУМЕРКИ

Я уже начал привыкать к новой обстановке и не без основания считал, что мне крупно повезло с новым назначением: фронтовая лаборатория по логике должна всегда быть в тылу и при штабе фронта, то есть в относительной безопасности. И вдруг мой начальник (ответственный за химическую службу фронта) вызвал меня в штаб и уведомил о приказе Главного военно-химического управления РККА, согласно которому лица, имеющие высшее инженерно-техническое химическое образование отзываются в распоряжение Москвы. Причиной, вероятно, послужило то, что возможность химической войны сейчас начисто исключалась и что выгоднее использовать инженерные кадры внутри страны. Как бы то ни было, в самом конце октября я вскарабкался в Белостоке в один из эшелонов и спустя 2-3 дня оказался в Москве.

Прежде всего я отправился в Институт органической химии и запасся ходатайством

от директора А.Н. Несмеянова, а затем – в Управление кадров Главного военно-химического управления РККА, где без особых проволочек получил документ о демобилизации и направлении в Академию наук для продолжения аспирантуры. И вот, 5 ноября 1944 года, ровно через три года, я снова стал гражданским лицом, аспирантом Института органической химии в лаборатории Ивана Николаевича Назарова. Мне выдали продовольственные карточки с весьма скудными нормами снабжения, так что я сразу почувствовал разницу между фронтовым и тыловым продовольственным обеспечением. Места в аспирантском общежитии не было (его мне предоставили только в апреле 1945 года), и я по предложению дирекции института поместился в одной из комнаток пустовавшей в то время лаборатории гетероциклических соединений Я.Л. Гольдфарба. Так как центральное отопление бездействовало, то я сложил печку-временку из кирпичей и обогревался дровами, которых было в избытке. Печник я был неважный, печь быстро остывала, а зима 1944-45 годов была на редкость суровой.

Это время было для меня очень трудным: голодно и холодно как «дома», так и в лаборатории Назарова, где температура редко превышала 10 градусов. Весь рабочий день я ежился от холода, время от времени отогревая ладони над электроплиткой. Шинель и суконное обмундирование плохо защищали от морозов, которые в ту зиму держались на уровне –25-30 градусов; впрочем, на улице я старался бывать возможно реже. Невольно вспоминал своего начальника химслужбы фронта, отговаривавшего меня от демобилизации: «К чему все это, в тылу голодают, здесь на фронте вы в практической безопасности и, несомненно, скоро получите повышение, я об этом позабочусь. Война кончается, не сегодня-завтра мы вступим в Германию, и вы, скажем откровенно, будете одним из первых при взятии и распределении трофеев. Все химические лаборатории будут открыты для вас, и вы сможете брать для научной работы самые редкие и дорогие реактивы. Возвратиться в аспирантуру вы всегда успеете. Кроме того, вы обеспечите себя всем, что нужно молодому человеку: прекрасной одеждой, материалами, обувью и многим другим, чего сейчас нет в нашей истощенной стране ...» Вроде, он был прав, а все же работать над увлекавшей меня научной проблемой, в среде ученых, где никто тебе не приказывает, где не надо становиться на вытяжку перед каждым старшим по чину, – все это в огромной степени перевешивало все преимущества, о которых так убедительно говорил начальник.

А в лаборатории меня встретили с искренней радостью и теплотой, которая в какой-то степени компенсировала житейские недостатки. И.Н. Назаров, тогда доктор наук, неизменно оказывал мне самое благожелательное внимание. Добрым словом я помяну Иду Зарецкую, Александру Ивановну Кузнецову – заместителя Назарова, Галю Верховлетову, не говоря уж о Лиде Тереховой, которая через полгода стала моей женой. Судьба и обстоятельства свели меня с прекрасными людьми, дружба с которыми прошла через всю мою жизнь. В обстановке непрерывного и жестокого полицейского сыска иметь друзей, с которыми можно говорить открыто, – это было великим благом. В Казани это были некоторые (и немногие) школьные и институтские товарищи, о которых я говорил выше и с которыми меня связали накрепко события 1936-39 годов, в Москве же заводить новых друзей было опасно. Но потребность общения так велика, что люди не то что забывают об опасности, но идут на риск. И вот в семье Декабрунов я чувствовал себя вполне свободно, мы обсуждали все события жизни, в первую очередь военные и политические.

... День Победы запомнился мне на всю жизнь. Погода выдалась редкостно ясная: голубое небо, свежераспустившиеся деревья, радость на всех лицах от мала до велика. Вечером я проник на мост через Москву-реку (со стороны собора Василия Блаженного) и видел великолепный фейерверк, сопровождавший победный артиллерийский салют.

Через несколько дней мне выпало счастье встретить Славу Галикеева. Наговорились вволю. Хлебнул он горя немало, смерть шагала рядом с ним много раз, не то что было со мной. Шесть месяцев он провел в штрафном батальоне, куда попал за то, что пытался (будучи в командировке в тылу) повидать мать. Домой возвращался без «фронтowej добычи» и не жалел об этом.

Весь 1945 год остался у меня в памяти как что-то светлое, радостное, полное надежд. В начале июня мы с Лидой сыграли свадьбу, взяли отпуск и почти два месяца прожили в небольшой деревеньке Калистово (по Северной железной дороге) среди прекрасной русской природы. Наше вступление в войну с Японией, ее капитуляция, Потсдамская конференция прошли как какие-то чужие, не касающиеся нас события. Не было ни времени, ни желания как-то осмыслить прошлое и оценить настоящее.

Зима 1945-46 годов была трудной и суровой для всей страны, для нашей семьи тоже. Нормы по карточкам были низкие: я был аспирантом, Лида – лаборантом, ее отец – пенсионер (то есть получал так называемую «иждивенческую карточку»), Юрочка – стопроцентный иждивенец. «Отоваривание» карточек сопровождалось утомительным стоянием в очередях за сахаром, маслом, мылом, далее за белым хлебом, если такой «выбрасывали». Дрова (у нас было печное отопление) тоже были проблемой, их отпускали по скудной норме и норовили всучить самый низкий сорт – осину. Работа в институте шла с трудом: не хватало реактивов, иногда выключали энергию, и при всем том – холод, холод. Мы не жаловались, так как знали, что в провинции дела обстоят много хуже, а в «глубинке» люди просто голодают. Старались подрабатывать, но это было трудно. Я все силы сосредотачивал на диссертационной работе, она была интересной, и, кроме того, защита сулила «кандидатские карточки» с повышенными нормами.

Надежды на что-то лучшее, на помощь из-за границы быстро рассеялись, а после речи Черчилля в Фултоне, где он впервые произнес крылатое слово «железный занавес» в осуждающем для нас тоне, тьма опустилась над нашей великой и разоренной страной. Началась «холодная война» со всеми ее аксессуарами. Снова заговорили о «врагах народа», о подрывной деятельности империализма и его приспешников, поползли слухи об арестах, в том числе бывших фронтовиков, попавших во время пребывания на Западе «в сети иностранных разведок».

Я чувствовал себя как под Дамокловым мечом, и, помню, в дни особо тяжелых раздумий приготовил себе препарат, содержащий цианистый калий, на случай «ночного визита». Лида угадала мое состояние и сумела поднять дух и рассеять черные мысли. Ей все это было знакомо: в 1938 году она работала на опытном химическом производстве и по доносу одной стервы была арестована «за антисоветскую агитацию». К счастью, это случилось на закате деятельности Ежова, и ее через полгода выпустили. Мы чувствовали себя как пара птиц, свивших гнездо на опушке леса и живших в постоянном страхе перед хищниками. И все же и в этот мрачный период были счастливые дни и часы. Были праздничные вечера с танцами, устраиваемые с поводом или без повода, у нас победнее, у Бахаровских побогаче, где царили свобода и смех. Летом и осенью были вылазки за ягодами и за грибами; в то время природа вокруг Москвы не была так опустошена как теперь.

... 17 марта 1947 г. стал для меня памятным и торжественным днем: я защитил кандидатскую диссертацию. Если бы не война, то я представил бы ее к защите в 1943 году, а если бы не арест 1936 года с последующими событиями, то моя научная карьера (она началась бы в Казани) привела бы меня к кандидатской степени еще в 1940 году. Естественно, я очень волновался, мой доклад мне не понравился, критика оппонентов показалась чересчур строгой; одним словом, мои переживания были характерными для любого начинающего молодого ученого. А вот после защиты меня ожидал приятный

сюрприз: мне сразу вручили продовольственные карточки кандидата наук. Какая радость была принести домой большой кус масла, вдвое или втрое больше обычной нормы сахара, кажется, еще была мука и прочая роскошь. Оказывается, для полноты счастья в 1947 году и не так-то уж много было нужно! Ликование в семье было безгранично. С апреля зарплата возросла до 2000 рублей вместо прежних 800 рублей. Как говорят, я почувствовал себя человеком.

В конце 1947 года отменили карточную систему и провели денежную реформу ... Московские магазины наполнились товарами, прежде всего пищевыми продуктами. Но в провинции было по-прежнему скудно, и приезжие старались воспользоваться короткими командировками (иначе билет в столицу не давали), чтобы что-то купить и увести с собой.

Для меня и моей семьи 1948 год стал, можно сказать, началом нового периода, периода благоденствия. В июне-июле мне присвоили (по представлению И.Н. Назарова) звание старшего научного сотрудника, и мой оклад увеличился с 2 до 3 тысяч рублей. Можно было приодеться, переменить кое-какую мебель, отремонтировать квартиру и т. д. А в августе 1948 года мы с Юрочкой (ему тогда было 16 лет) решили совершить грандиозное туристское путешествие на Кавказ. В то время такие туристские маршруты еще только входили в моду, и было много трудностей с получением путевок и доставанием билетов. Мы побывали в Сочи, Хосте, Гаграх, Пицунде, Красной Поляне, Тбилиси, Сухуми и где-то еще и были переполнены впечатлениями. Тогда на юге было изобилие овощей и фруктов, все это по низкой цене. Пляжи не были так переполнены, как сейчас, да и санатории и пансионаты были очень редки. В общем, путешествие было замечательным и навсегда осталось в моей памяти. Мы с Юрой запланировали в ближайшем будущем купить велосипеды и совершить большой туристский пробег по России до Ленинграда, что удалось осуществить в 1950 году.

Период 1948-53 годов был для меня периодом исключительно интенсивной научной работы, причем работы экспериментальной. Если во время моего диплома в 1936-37 годах я чувствовал себя неопытным новичком, спотыкающимся на каждом шагу, то сейчас я планировал и ставил опыты уверенно, работал чисто, предугадывал (и разгадывал) ход реакции, научился выделять и разделять вещества (а в то время хроматографирование еще только начинало свой триумфальный ход), в общем, стал настоящим химиком-синтетиком.

За это время у меня и накопился материал для докторской диссертации, которую я защитил в 1953 году. Сейчас докторская диссертация, как правило, представляет собой сумму исследований, проводимых группой сотрудников под руководством будущего доктора. В тот период она являлась продуктом самостоятельного творчества, и я могу заявить, что примерно 70% экспериментов, вошедших в диссертацию, было выполнено мною за лабораторным столом. Конечно, мне очень повезло, что за шестилетний период я смог сделать такой научный рывок, обычно для этого требуется вдвое больше времени. Но я работал с увлечением, материальная сторона жизни уже не представляла проблемы, семейная жизнь была счастливой и безоблачной (в 1950 году у нас родился Володя), а научная и творческая атмосфера в лаборатории Ивана Николаевича была исключительно вдохновляющей.

Было и еще одно благоприятное для меня обстоятельство: у И.Н. Назарова, который в 1946 году стал членом-корреспондентом, не было ни одного доктора (кандидатов было достаточно), а для «научной школы» по традиции необходимо было иметь «учеников», «продолжателей», то есть докторов наук. Ивану Николаевичу на это намекала и дирекция в лице А.Н. Несмеянова, ставшего в 1951 году президентом Академии наук. Казалось бы, первым доктором мог быть кто-нибудь другой, тем более что в 1946 году в лабораторию

влились новые силы, из них я отмечу «фронтовиков»: Израиля Львовича Котляревского (кажется, капитан), Льва Давидовича Бергельсона (старший лейтенант) и Афанасия Андреевича Ахрема (майор).

Вполне возможно, что первым доктором у Ивана Николаевича мог быть не я, а Бергельсон, у которого работа шла также успешно, а кандидатская диссертация защищена на «отлично». Однако, обстоятельства сложились таким образом, что мне выпал жребий быть первым. Здесь придется бросить взгляд на политические события ...

В это время исподволь начала набирать силу антисемитская кампания ... Я не буду описывать подробностей этой «антикосмополитической» кампании, она всем должна быть хорошо известна. Если бы не смерть величайшего кровопийцы всех времен и народов, то мы бы стали свидетелями еще одной трагедии еврейского народа, которому была уготована ссылка в Сибирь, где они, вероятно, на три четверти погибли бы, как это было с нашим несчастным крестьянством. Ограничусь лишь описанием того, как эта кампания затронула лабораторию Назарова и наш институт.

С самого начала скажу, что пострадавших у нас было куда меньше, чем в других институтах, все-таки директором был сам Несмеянов. Однако, и он не был всесилен, и инструкции московского обкома и самого ЦК надо было выполнять, что и легло нелегкой ношей на его заместителя В.В. Коршака и институтскую парторганизацию. Начались увольнения сотрудников-евреев. Следует заметить, что увольняемый не имел практически никакой надежды устроиться где-нибудь в другом месте Москвы. Академия и прежде всего Несмеянов проявили либерализм, предлагая увольняемым (не всем!) уехать в Новосибирск или Иркутск, где в это время организовывались научные центры. Правда, несмотря на джентльменское соглашение, их и там могли уволить, но когда-то это будет, а через некоторое время, авось, ситуация переменится. Первым в число уволенных попал Изя Котляревский, затем Лия Фишер, одинокая старая дева, у которой кроме химии не было никаких привязанностей, Готман и еще не помню кто.

Иван Николаевич безуспешно протестовал, можно сказать, защищал своих сотрудников до последнего дыхания, но все было напрасно. В это время наметилось явное охлаждение в отношениях между И.Н. Назаровым и А.А. Ахремом. Последний как дисциплинированный член партии и парторг нашей лаборатории безоговорочно проводил диктуемую сверху линию «борьбы с космополитизмом» и тем самым лишал И.Н. поддержки в его спорах с дирекцией. Ивану Николаевичу, исконно русскому человеку, и, в какой-то степени, имеющему крестьянскую психологию в лучшем смысле этого слова, были совершенно чужды националистические мотивы. Он уважал прежде всего труд и способности, партийные же догмы и указания он принимал лишь потому только, что без этого ему нельзя было развивать свои работы.

Последним ударом для И.Н. было увольнение Левы Бергельсона, на которого он возлагал большие надежды. Отец Бергельсона, известный писатель, был в это время (в 1949 г.) арестован и расстрелян как сионист. Лева остался на свободе, хотя НКВД ничего не стоило «пришить» сыну такую же статью, как и отцу, и если не расстрелять, то отправить на медленное умирание в Колыму или Норильск. До начала 1952 года он фактически был безработным, и если бы не сочувствие и помощь академика В.Н. Родионова (возможно при тайном посредничестве Назарова), то семье Левы пришлось бы голодать. Родионову удавалось доставать ему переводы, устраивать его на временные работы (это было очень трудно), и материальная сторона жизни семьи была как-то устроена. Но моральное состояние было ужасно: с каждым годом охота на «безродных космополитов» становилась все более жестокой и беспощадной, сравнимой разве с «охотой на ведьм» в средневековье.

Над несчастной семьей все время висел Дамоклов меч, и в начале 1952 года он на нее

обрушился. Лева, его жена Ная (Ноэми) и престарелая мать были арестованы и депортированы в Казахстан. Им пришлось пройти через пересыльные тюрьмы, выдержать длинные и мучительные этапы вместе с другими «зеками», прежде чем их привезли на шахты Тургайстроя в Восточном Казахстане. Здесь после многомесячной тяжелой шахтерской работы Лева удалось перейти на должность химика-лаборанта, где он и оставался до августа 1954 года, когда ему и его семье было разрешено (после «реабилитации») вернуться в Москву. Лева не любил вспоминать этот тяжелый период, и я узнал о нем только в середине 1990 года. По счастью, его талант химика и твердая воля не были сломлены, и спустя 12 лет он защитил докторскую диссертацию.

Вернусь к моей жизни. Она, как я уже говорил, протекала счастливо и безмятежно во всех отношениях, и на работе и дома. Судьба как будто хотела компенсировать мне тяжелые испытания тридцатых годов счастливыми годами пятидесятых. В 1949 году мы с Лидой совершили чудесное путешествие по Черноморскому побережью, а в 1950 году еще более замечательное путешествие на велосипедах с Юрой (тогда уже студентом I курса) и его товарищем Женей Голубевым. Маршрут был таков: Загорск – Ярославль – Рыбинск – ... – Калинин – Торжок – Валдай – озеро Селигер – Новгород – Ленинград. На Селигере мы провели десять дней в туристском лагере и всласть поплавали на байдарках.

Это путешествие познакомило моих столичных молодых людей с русской природой, с провинциальной жизнью и с теми разрушениями и несчастьями, которые оставила война. Они убедились, насколько бедна и истощена наша деревня. Хлеб можно было достать только в больших городах; в Новгороде, например, мы были рады, выстояв длинную очередь, купить по паре французских булочек на брата (больше не давали). В наш туристский лагерь стайками прибегали ребятишки из соседних деревень, вымаливая: «Дядя, дай кусочек хлеба!» Тяжелое зрелище! Отгремевшая война напомнила о себе развалинами каменных домов и церквей и в Калинин, и в Новгороде, и в Ленинграде. Помню, когда мы выехали из Новгорода, то на протяжении около шестидесяти километров не встретили ни одной деревни, хотя на карте (издания 1919 года и очень точной; поздние издания были засекречены, и в туристическом центре их достать было нельзя) их было не менее десяти. По обеим сторонам шоссе была видна только молодая поросль берез и осин. Невольно пришла на ум фраза из эпохи Столетней войны: «Англичане посеяли во Франции лес». Роль англичан у нас взяли немцы.

Ленинград, еще не залечивший свои раны, произвел на нас потрясающее впечатление. Мы провели там десять дней и обегали все исторические места, музеи и парки. Ездили и в Петергоф, где уже был восстановлен каскад фонтанов со знаменитой статуей Самсона. Об одном я жалел, что не посетил Северную Пальмиру в предвоенные годы. Царское Село, Гатчина, Павловск – все это в 1950 году представляло собой жалкие развалины. Даже теперь, к 1990 году, многое еще реставрируется, а многое утеряно навеки ...

СМЕРТЬ ДЕСПОТА. ЭПОХА ПЕРЕМЕН

В начале марта 1953 года я заканчивал оформление моей докторской диссертации, защита которой была назначена на лето. Я сидел дома, проверял последние страницы и краем уха слушал радио. И вдруг... правительственное сообщение о болезни товарища Сталина, медицинский бюллетень. Я не уловил, что именно случилось, какой диагноз, но всем своим существом ощутил серьезность события. О незначительном недомогании, даже о гриппе, конечно, сообщать бы не стали. Господи, неужели Ты послал наконец-то ангела смерти на тирана, которого толпа давно привыкла считать бессмертным! Эти далеко нехристианские чувства овладели моей душой. Прошел еще день, в медицинском бюллетене появилась фраза «... отмечено Чейнстоксово дыхание ...» Но ведь это агония! И

когда ранним утром 6 марта, проснувшись, я увидел траурные флаги за окном, меня охватила радость. Тиран умер, умер! И тут же я подумал: «А что если будет новый, да еще худший?» Тиран умер, да здравствует тиран!

Я отправился в институт. Зрелище, которое я увидел, меня потрясло. Горе и печаль были на всех лицах, у женщин катились слезы, многие просто рыдали. Плакали русские, плакали и еврейки! Я просто был ошарашен. Можно, даже нужно, выразить какое-то официальное соболезнование, но плакать по тирану, уничтожившему десятки миллионов и собиравшемуся уничтожить миллионы других! Что это? Рабство духа, доведенное до абсурда? Результат многолетней пропаганды обожествления тирана, проводимой партией, школой, всеми средствами информации? Но как тогда оценивать народ, поддавшийся этой лжи? Мне было очень тяжело.

... В моей памяти 1953 год встает как один из счастливейших в моей жизни. 25 июня я защитил докторскую диссертацию. Защита прошла прекрасно, и голосование было единодушным. Оппонентами были академик Б.Л. Арбузов, член-корреспондент А.Д. Петров и профессор А.Ф. Платэ. Утверждение ВАКа состоялось в декабре. В сентябре-октябре мы с Лидой и трехлетним Володей провели отпуск в живописном поселке Леселидзе на черноморском побережье. Чудесная погода, теплое море, изобилие фруктов, прекрасное настроение после успешной защиты – все это вместе взятое запомнилось как какой-то сказочный праздник.

С этого времени начинается совершенно другой период моей жизни, период свободный от страха, от необходимости скрывать свои мысли, а в науке – период относительно свободного творчества. Я подчеркну «относительно», ибо Назаров, ставший в 1953 году академиком, был заведующим отнюдь не номинально и крепко держал вожжи руководства в своих руках. Он не сковывал инициативу, но любая работа, оформленная в виде статьи, должна была печататься за его подписью, причем он стоял первым автором. В большинстве случаев это не вызывало возражения, даже было традицией (Несмеянов поступал также), но иногда порождало чувство досады. У меня образовалась группа работающих фактически по моей теме, но официально это не было оформлено. В будущем, однако, намечалась и большая самостоятельность.

В 1954 году Институт органической химии разделился на два института: от него отпочковался Институт элементоорганических соединений, где директором стал Несмеянов, а директором «старого» ИОХа был назначен академик Борис Александрович Казанский, катализатор по профессии. Стало также известно, что в Пущино под Москвой должен организоваться новый научный центр, целью которого будет изучение природных соединений, а также их синтез. Руководителем этого центра, все с этим были согласны, вполне мог быть наш Иван Николаевич, в лаборатории которого (именовавшейся лабораторией непредельных соединений) в 1954 году велись исследования по химии изопреноидов, стероидов, гетероциклических соединений, содержащих азот и серу, и т. д. Дело созревало не спеша, но развитие шло в определенном направлении. В 1956 году Назаров провел негласный опрос, кто согласился бы уехать работать в новый институт в Пущино, и я дал утвердительный ответ. Там мне, безусловно, дали бы лабораторию или отдел. Но судьба решила иначе.

Период 1953-56 годов справедливо был окрещен «оттепелью». Люди получили возможность обмениваться мнениями, публично выступать (правда, в осторожной форме) по вопросам литературы, искусства, предлагать реформы в сельском хозяйстве, по социальному законодательству и т. д. Все это делалось робко, с оглядкой, но это было важное начало. Участились командировки за границу, в особенности научных работников и вообще специалистов; начали организовываться даже научно-туристские поездки. Громадный толчок «инакомыслию» дал доклад Хрущева в конце февраля 1956 года,

разоблачивший преступления Джугашвили (по крайней мере часть из них). Большинство было просто ошеломлено тем, что вожди партии не только не протестовали против совершавшихся зверств, но одобряли их и помогали преступнику. Сам Хрущев, почувствовав, что дело идет об авторитете партии и коммунистических идей, вскоре дал «задний ход», заявив, что Сталин сделал много хорошего, сокрушил немецкий фашизм и «мы нашего Сталина никому не отдадим» Но дело было сделано.

... Следующий 1957 год оказался поворотным в моей карьере. В июле 1957 года в Париже должен был открыться очередной XVI Конгресс по чистой и прикладной химии, куда Иван Николаевич Назаров был приглашен как пленарный лектор. Так как он не владел языками, хотя мог читать несложные английские и немецкие тексты научных статей, то его должен был сопровождать наш сотрудник Завьялов Сергей Иванович, свободно говоривший по-французски. Более того, была организована научно-туристская группа (последствия «оттепели»), куда попал и я. Для меня это было экстраординарным событием – в первый раз в жизни я еду за границу, да ни куда-нибудь, а во Францию! Программа предусматривала, насколько я помню, 20-дневное пребывание во Франции с поездкой в Нормандию и, конечно, включала участие в заседаниях Конгресса. Рабочими языками были английский и французский. Уже с 1956 года я начал частным образом заниматься английским и был уверен, что языковых трудностей не будет. Оказалось все не так.

В назначенный день новенький реактивный самолет ТУ-104 (достижение нашей авиации в то время) лихо поднял нас в воздух и взял курс на запад. Внизу проплыли леса Белоруссии, завиднелось Балтийское море, стюардесса объявила, что мы приближаемся к Копенгагену, вот уже внизу Нидерланды, плавный спуск, и мы вырुливаем к аэропорту Ле-Бурже. Мы на земле Франции!

... С момента открытия Конгресса я присутствовал на пленарных лекциях и секционных докладах по органической химии. И здесь меня постигло жестокое разочарование: мои знания английского оказались совершенно недостаточными, чтобы понимать беглую английскую речь. Оказывается, можно обладать огромным словарным запасом (он у меня был), правильно произносить слова и целые фразы, даже вести небольшой разговор с собеседником на научные темы, и, тем не менее, чувствовать себя беспомощным в попытках следить за речью докладчика. Конечно, на помощь приходила догадка, помогал демонстрационный материал, но это было весьма далеко от действительного знания языка. Я получил хороший урок за свою самонадеянность. Много позже, в 1979 году, в Нью-Йорке я пожаловался профессору Гилберту Сторку, по происхождению бельгийцу, на то, что не в состоянии понять разговор в кинофильмах, передаваемых по телевидению. Он с улыбкой сказал, что ему, постоянно живущему в Америке и постоянно слышавшему английскую речь, потребовалось для овладения «киноразговором» три года!

Конечно, я присутствовал на лекции Назарова. Честно говоря, это было жалкое зрелище. С.И. Завьялов громко и четко читал доклад (очень интересный и содержательный), а Иван Николаевич в роли мальчика указывал на экране ту или другую формулу. Я мысленно дал обет никогда не выступать в такой неприглядной роли. Но вежливая аудитория, приняв во внимание, что Назаров был одним из первых ведущих советских ученых, «выпущенных» за границу, горячо (и справедливо) аплодировала.

На Конгрессе я впервые лично познакомился с иностранными учеными: с профессором В. Прелогом (из Цюриха), будущим лауреатом Нобелевской премии, и профессором Ф. Винтерницем (из Монпелье). Оба, как и я, работали по химии полициклических соединений, и я задал им несколько вопросов по докладам, но только по окончании выступлений, так сказать, в частном порядке. Прелог был приятно удивлен,

что с ним заговорил (и без переводчика) советский ученый из-за «железного занавеса»; симпатии к нам объяснялись частично происхождением Прелога – он родился и вырос в Сербии. Винтерниц также проявил благорасположение, тем более что я обратился к нему по-французски, и пригласил меня побывать в Монпелье, что я позже, в 1964 году, и сделал.

В общем, для первого раза мое участие в международном форуме можно было считать успешным. А затем последовало туристское турне, оставившее у меня и до сих пор прекрасные воспоминания. Наш путь проходил через Руан, Корневиль, Трувиль, Довиль, Лизьё, сейчас я уже не помню другие места. ... Мы вернулись в Париж за 3-4 дня до отъезда и должны были поехать еще в какие-то интересные места, не то в Реймс, не то в Шартр, когда утром в моем номере отеля «Гар Люксанбур» раздался телефонный звонок и знакомый голос Сергея Завьялова спросил: «Игорь Владимирович?» – «Да, это я, Сережа. Откуда вы звоните?» – «Из Авиньона». – «О, это исторический город! Как Иван Николаевич?» – «Его больше нет». – «Что?!» – «Он умер вчера вечером».

На следующий день по приезде Завьялова мы узнали подробности этой неожиданной трагедии. Согласно своей, особой программе, Иван Николаевич должен был посетить Лион и Марсель (по-видимому, университетские лаборатории). В Лионе ночью ему стало плохо, открылась рвота с кровью. Врач, вызванный утром, подробно спрашивал, нет ли язвы желудка и что было на ужин. Узнав, что ужин был плотный и с достаточным количеством красного бургундского вина, он покачал головой, выписал что-то успокаивающее и сказал, что придет вечером. Часа через два Иван Николаевич почувствовал себя «вполне хорошо», сказал, что «нечего портить программу», и, несмотря на протест Сергея Ивановича, настоял на продолжении поездки. Они сели в экспресс, и вначале все было нормально, но при подъезде к Авиньону Назаров сказал, что ему худо и он сойдет. Выйти из вагона ему не удалось, начался приступ кровавой рвоты, поезд задержали на несколько минут до прибытия скорой помощи, и академика без сознания увезли в хирургическое отделение авиньонской больницы. Диагноз – острая прободная язва желудка с сильным кровотечением.

Что делали французские врачи, я не запомнил, да, кажется, и Сергей Иванович не мог точно сказать. Конечно, было переливание крови, холодные компрессы, но была ли операция, не знаю. Перед смертью он на несколько минут пришел в себя, прошептал имя младшей дочери и вновь впал в забытие. Врачи объявили, что надежды нет, в палату по традиции внесли и повесили распятие, но Завьялов запротестовал, ссылаясь на то, что Назаров был атеистом. Несомненно, он на это не имел никакого права; не настолько он был близок к Ивану Николаевичу, чтобы знать интимное состояние его души, особенно перед смертью.

Печально было наше возвращение в Москву. Во Внуково нас встречали убитые горем жена и дочери Ивана Николаевича. Слова сочувствия и утешения замирали на наших устах, слишком велика была потеря и бесполезны соболезнования. Вскрытие показало, что Иван Николаевич, несмотря на сравнительно молодой возраст (ему был 51 год) и крепкое, «крестьянское» телосложение, страдал склерозом сосудов внутренних органов, в частности печени, и если бы даже он благополучно возвратился из Франции, то жить ему оставалось год-полтора. Таково было заключение врачей.

Еще в 1956 году Иван Николаевич встретился с сэром Александром Годдом (тогда, кажется, уже лауреатом Нобелевской премии) из Кембриджского университета, и они договорились об обмене молодыми учеными. От нашей лаборатории в ноябре 1956 года был послан в Англию Электрон Мистрюков, очень способный молодой кандидат (он поехал в Кембридж вместе с Николаем Константиновичем Кочетковым), а к нам через год, то есть в ноябре 1957 года, прибыл молодой бакалавр Лесли Джонсон. Дирекция

определила его ко мне, и он работал у нас почти год. Вскоре, хотя и не сразу (чему способствовал мой недостаточный опыт в разговорной речи), мы сошлись во взглядах и стали друзьями; наша дружба нерушима и до сих пор. Лесли был типичным британцем в лучшем смысле этого слова, сдержанный, умеющий видеть вокруг и слушать собеседников, никогда не навязывающий своего мнения, но всегда готовый разъяснить свою точку зрения. Он был очень скромен, не жаловался на неудобства московской жизни и ничего не критиковал, если его не спрашивали. Воспитанник Кембриджского университета, он хорошо знал химию и современные методы исследования (хроматографию, масс-спектрометрию, ядерно-магнитный резонанс и прочие).

Мы вместе совершали экскурсии в музеи, даже делали лыжные вылазки, но до 1 мая 1958 года я его к себе домой не приглашал (для этого нужна была специальная договоренность с иностранным отделом АН СССР, а моя квартира, вернее большая комната на Донской улице, не заслужила бы одобрения со стороны властей). Но в Первомайский праздник я решил, махнув рукой на бюрократические препоны, провести его в компании с Лесли и его компатриотом Робертом Гринкелли. Моя Лида, всегда гостеприимная, была рада принять зарубежных гостей. Все прошло замечательно, атмосфера была самая теплая и дружеская, а языковые трудности как-то отошли на второй план. Узнав о приеме, чиновник из АН СССР бросил фразу: «Ну и смелый вы человек!», но на том дело и кончилось, из чего я заключил, что моя инициатива была одобрена. В мае 1958 года я повез Лесли в Казань, которая, к моему удивлению, ему понравилась (разумеется, центральная часть); там он даже сделал доклад в лаборатории А.Е. Арбузова.

К этому времени у меня начал «прорезываться» успех по синтезу полициклов, ведущий непосредственно к получению стероидных гормонов эквиленина и эстрона. В этой области мы работали дружно и успешно с Софьей Николаевной Ананченко, которая пришла в 1949 году в аспирантуру, в 1952 году защитила кандидатскую диссертацию и с которой мы затем сотрудничали бок о бок более 20 лет. Ее отличали быстрый и острый ум и экспериментальная хватка. Она была единственной дочерью большого партийного работника, мать ее работала в НКВД, и, естественно, Софья Николаевна была ревностной комсомолкой, а затем и членом партии. И все же от обычных «ортодоксов» ее отличали независимость мышления и резкие, очень часто правильные суждения. Я помню (с ее слов), что когда ее вызвали в НКВД по делу одного сотрудника Института органической химии, обвинявшегося в антисоветской агитации, то она сказала следователю: «Вам бы следовало здесь вывесить надпись “Оставь надежду, всяк сюда идущий!”» За такое вызывающее замечание ее самое можно было тут же арестовать по статье 58/10, но следователь предпочел расхотаться и отшутился: «Что вы, Софья Николаевна, мы, напротив, собираемся написать на дверях “Добро пожаловать!” и посадить вахтером красивую барышню!»

Я говорил выше, что наша лаборатория (во всяком случае большинство) настроилась работать в организуемом научном центре в Пушкино-на-Оке, где Назаров должен был быть его главой этого центра. С его смертью все переменялось. Идея создания Института химии природных соединений осталась, но проводить ее в жизнь Академия поручила Михаилу Михайловичу Шемякину, недавно (в 1958 г.) избранному академику, до этого работавшему по химии антибиотиков в Институте биологической и медицинской химии. С ним-то я и связал свою деятельность на протяжении 11 лет считая с 1959 года, года формальной организации нового института.

Не знаю, по какой причине, но институт был создан не в Пушкино, а в Москве на базе Института горного дела, который по распоряжению Хрущева был перемещен «ближе к производству», кажется, на Урал. Здание было совершенно не приспособлено для

химических работ, и Шемякин добился разрешения строить дополнительное здание почти рядом с главным корпусом. Я думаю (это только предположение), что Шемякин вообще не хотел уезжать из Москвы и ухватился за первую возможность остаться в столице.

Думаю, что здесь уместно сказать несколько слов о Михаиле Михайловиче Шемякине как человеке и ученом. Может быть будет лучше, если я сравню его с Иваном Николаевичем Назаровым; в сравнении все становится яснее.

Оба ученых родились в одном и том же 1906 году, оба были избраны академиками, оба имели высокую научную репутацию и организационный опыт. И были совершенно разные люди. Иван Николаевич, коренной русский крестьянин, еще в 1922 году пахавший поле и затем работавший деревенским учителем, был, как американцы бы его назвали, self-made man. Михаил Михайлович был горожанин из интеллигентной семьи, и его карьера как научного работника определилась согласно его желанию и способностям. Назаров принес с собой в город незамысловатую и честную мораль крестьянина-труженика. Шемякин как столичный житель имел «мораль гибкую» и склонность (и способность) к интригам, что в то время (да и теперь также) никем не осуждалось. И.Н. отличался прямоотой суждений, отметал лесть как инструмент создания карьеры, был сам лести недоступен (по крайней мере грубой лести). М.М. считал лесть начальству необходимой и сам был падок на лесть, хотя очень часто видел людей насквозь.

Отсюда полная разность в личной жизни у этих двух людей: Назаров был однолюб, примерный семьянин и любил детей; Шемякин был неоднократно женат, разводился и считал детей обузой и вообще несовместимым с жизнью ученого ... Иван Николаевич мог ссориться с людьми (и иметь врагов), но ему было чуждо чувство мстительности. Михаил Михайлович, однажды поссорившись, старался мстить своему врагу всеми способами, причем мстительность его возрастала, а не утихала со временем. Это стало для меня ясно очень скоро и вызывало отвращение.

Оба были «трудяги», работали, не считаясь со временем, умели «примечать» и привлекать молодые таланты, уважали их и предоставляли все возможности для работы. Из школы Назарова вышли Л.Д. Бергельсон (сейчас член-корреспондент), профессора Э.П. Серебряков, А.В. Камерницкий – все выдающиеся химики, и их было бы много больше, если бы не преждевременная смерть нашего учителя. Из школы Шемякина вышли член-корреспондент А.С. Хохлов (я бы не назвал его учеником в обычном смысле слова, так как его научный и интеллектуальный потенциал был на уровне М.М.), академик М.Н. Колосов (к сожалению, скончавшийся совсем молодым), академик Ю.А. Овчинников (о нем позже), академик В.Т. Иванов, члены-корреспонденты В.Ф. Быстров и В.К. Антонов.

Передо мной стояли две возможности: остаться в Институте органической химии, где я был с 1939 года и знал весь коллектив, или перейти к Шемякину, обещавшему мне лабораторию и полную свободу творческой работы. В лаборатории Назарова я не надеялся быть шефом, там было много способных и независимых людей, и не было уверенности, что они примут мое хотя бы административное главенство. Отсюда следовал вывод, что лаборатория должна разделиться, а это породило бы личные трения и конкуренцию с Виктором Федоровичем Кучеровым, недавно защитившим докторскую диссертацию. Я колебался, и решающим для меня стал разговор с Николаем Константиновичем Кочетковым, которого я очень уважал как первоклассного химика. Он уже дал согласие Шемякину быть его заместителем и горячо убеждал меня перейти в новый институт. Жребий был брошен, и с сентября 1959 года я оформил свой переход в Институт химии природных соединений.

Период 1959–62 годов был самым плодотворным в моей научной карьере. Мне удалось сколотить неплохой коллектив, где, наряду со «старыми» сотрудниками,

перешедшими со мной из Института органической химии (И.И. Зарецкая, Г.П. Верховлетова, Т.И. Сорокина), оказались такие способные химики, как К.К. Пивницкий, А.В. Платонова, В.Н. Леонов, Э.А. Елин, Л.М. Коган и другие. Наш синтез, известный сейчас как способ Торгова – Ананченко, заслужил международное признание и был развит во многих иностранных исследованиях по химии стероидов. Более того, он получил (после значительных улучшений, сделанных немецкими химиками) и промышленное оформление: по нашему способу фирмами Jenapharm и Schering выпускались (и, кажется, частично выпускаются и сейчас) эстрогены, анаболические и контрацептивы.

Конечно, все это развивалось постепенно. Пожалуй, первым, кто правильно оценил наши работы, был профессор Франтишек Шорм, директор Института химии и биохимии Чехословацкой академии наук и ее президент. Это был талантливый химик мирового класса, и его неоднократно выдвигали кандидатом в нобелевские лауреаты. В мае 1959 года я «командировался» на месяц в Чехословакию и в институте Шорма прочитал доклад по синтезу полициклов. Шорм отнесся к нему очень серьезно, сделал ряд замечаний и рекомендаций и в дальнейшем, в 1962 году, поставил меня пленарным докладчиком на очередном симпозиуме по химии природных соединений в Праге.

Эта командировка в Чехословакию была одновременно и научно-полезной, и общепознавательной. Мои чешские друзья организовали для меня ряд интереснейших экскурсий по Праге и поездки в Брно, Братиславу и другие «туристские» места. Прага во многом напоминала мне Париж, она также дышала историей и очаровывала красотой архитектуры, готической и барокко; так же была закопчена, и ее можно было бы назвать «императорской мантией Карла IV», красивой и поношенной. В целом это был и есть прекрасный город и жемчужина Европы. Позже мне случалось быть в Праге четыре или пять раз, и я не уставал ею восхищаться.

Вторым, кто обратил внимание на наши исследования, был профессор Дерек Бартон, прибывший в 1961 году в Москву как гость Академии. В.Ф. Кучерову и мне было поручено принимать и опекать его. Сейчас он лауреат Нобелевской премии, а его работы и идеи дали огромный толчок развитию органического синтеза. И в 1961 году он был звезда первой величины, и я был рад и горд этим знакомством. Оценив наши результаты, он настоятельно рекомендовал послать статью в журнал «Tetrahedron», редактором которого являлся. Это, конечно, был лучший вид научного publicity, и я последовал его совету.

Запомнился мне забавный момент во время обеда в ресторане «Украина». Нас было трое: Бартон, Кучеров и я. Бартон только что возвратился из Ленинграда и на мой вопрос, какое впечатление произвела на него наша Северная Пальмира, сказал: «Это чудесный город, и я удивляюсь, как в таком прекрасном городе могла произойти революция». Мне очень понравился тонкий юмор Бартона, я засмеялся и перевел это Кучерову, который, к моему удивлению, нахмурился. Я не сразу понял, что замечание Бартона задело его «ортодоксальные» чувства. Ведь октябрьский переворот, по его мнению, был прекрасным событием, и он вполне был уместен в прекрасном Петрограде. Что поделаешь, я был на стороне Бартона.

В середине 1960 года меня вызвал Шемякин и сказал, что Египетский научный центр (с которым Академия имела соглашение о научном обмене) обратился в Президиум Академии с просьбой послать двух ведущих ученых для чтения лекций в научных учреждениях Египта. Он, Шемякин, рекомендовал мою кандидатуру и надеется на мое согласие. Моя реакция вначале была резко отрицательная: «Что? Ехать в страну, управляемую этим бандитом Насером! Никогда! Эти подонки разрушили памятник Лессепсу, одному из величайших инженеров мира!» М.М. был ошарашен, но немедленно перешел в наступление: «Разных дураков я видел, но такого болвана вижу впервые! Какое

вам дело, кто сидит там, в Египте: король, полковник или ординарный бандит? Вы-то едете не к нему, а имеете неповторимый шанс увидеть такие исторические чудеса мира, которые втуне мечтают видеть миллионы!» Аргументация была сильна, а главное – верна на 100%.

В результате в феврале 1961 года я вместе с академиком А.А. Имшенецким садился в самолет, выполнявший рейс Москва – Тирана – Каир (тогда у нас с Албанией были еще сносные отношения, хотя Энвер Ходжа открыто осуждал политику десталинизации). Не буду говорить о научной ценности поездки, для меня это было репетицией будущих заграничных визитов, а скажу о впечатлениях. Кратко. Кто был у пирамид, в Долине царей и в Луксоре, тот видел одно из чудес света. После египетской цивилизации римская (а я в 1966 г. был в Италии) уже не смотрится, хотя Колизей и Forum Romanum – это тоже бесценное наследие прошлого ...

... Приближалось время поездки в Прагу на симпозиум по химии природных соединений. Надо ли говорить о моем волнении перед выступлением в роли пленарного лектора. Доклад был вроде хорош, английский текст безупречен (его правил сам Жорж Пек, о котором я говорил выше), но, несмотря на несколько репетиций, я беспокоился о своем произношении, о возможных ошибках, да мало ли о чем. Но все прошло на «4+». Аплодисменты меня не тронули, поскольку это был жест вежливости, а вот то, что после лекции со мной беседовал сам Вудворд, убедило меня в успехе. Более того, мой друг Лесли Джонсон рассказал о разговоре двух американцев перед лекцией. Они колебались, остаться на нее или нет: «Едва ли этот русский скажет что-нибудь интересное». Но уже минут через десять после начала лекции их лица сделались серьезными, и они начали что-то быстро записывать. «В общем, – говорил Лесли, – вы, Игорь (он никак не мог смягчить последнюю букву), обрели репутацию солидного ученого, и вас теперь все знают».

Эта информация меня обрадовала и, что греха таить, мне весьма польстила. Я действительно завязал несколько новых знакомств, из которых запомнилась беседа с Г. Уриссоном. Вначале она вращалась вокруг проблем частичного и полного синтеза, а потом перешла на общие темы, попросту говоря, превратилась в светскую болтовню, в которой Уриссон как настоящий француз был на высоте. Он обещал содействовать моему приглашению во Францию и обещание выполнил.

Я вернулся в Москву в самом радужном настроении, рассказал обо всем своим сотрудникам, и надо ли говорить, как это подняло их дух. Но этот духовный подъем продолжался недолго. В конце года Шемякин имел со мной серьезный разговор о научном направлении лаборатории и оказалось, с его точки зрения, что занятия синтезом, которые только что получили высокую международную оценку, совсем не то, что нужно институту. Институт (это я услышал впервые) должен «биологизироваться», химические работы могут вестись только с целью выяснения механизма действия природных соединений, установления связи структура – функция. «Синтез же ради синтеза, – как небрежно обронил он, – работы второго сорта».

Я был изумлен и ошарашен: ведь в 1959 году, когда я излагал мои планы перед переходом в его институт, они были полностью одобрены. Я направился к Кочеткову, и после долгого и иногда малопонятного для меня разговора начал понимать ситуацию. Между Шемякиным и Кочетковым, мягко выражаясь, пробежала черная кошка, будет назначен новый заместитель директора, и трудно предсказать развитие событий. Вот тебе раз! Значит, мой переход из Института органической химии оказался ошибкой, причем непоправимой, так как возможности обратного хода не было.

Скажу заранее, что начиная с 1963 года и до смерти М.М. Шемякина в 1970-м мое положение было незавидным. Директор внешне относился ко мне по-прежнему хорошо, я

свободно ездил на международные конференции и приглашался на разные совещания, но на ученых советах наши работы подвергались критике, и я чувствовал, что меня терпели – и только. Хорошо, что в этот период успела защитить докторскую диссертацию Софья Николаевна, равно защите работ моими аспирантами препятствий не было. Положительную роль сыграло то обстоятельство, что наши работы были подхвачены и развивались за границей, поэтому Шемякину было неудобно совсем стереть меня в порошок.

Ну а что же с Кочетковым, какие были причины ссоры между двумя учеными? Здесь я сформулировал бы ситуацию таким образом: миром, не исключая и мир науки, управляет не разум, а страсти. И то, что я изложу ниже, более напоминает повесть из незабвенного цикла Бальзака «Человеческая комедия», чем ординарную летопись событий людей науки. Отступим на несколько лет назад.

В 1950 году в лабораторию Ивана Николаевича пришла молодая женщина, прикомандированная в аспирантуру из Литовской академии наук. Гали Павловна Кугатова была общительным и веселым человеком, быстро подружилась со мной и Лидой и многократно бывала у нас дома. Сама она родилась на далеком Алтае, перед войной нашла свое счастье в Вильнюсе в лице красивого литвина Мариана Богдановича Киневичуса, который с 1954 года занимал довольно значительный пост председателя Вильнюсского горисполкома.

В 1955 году мы выехали на летний отпуск в Пабраде, прелестное дачное место в 50 км от Вильнюса, и спокойно там отдыхали. В один день у Володи поднялась температура, и он слег. Как раз в это время пошли слухи об эпидемии полиомиелита, будто бы охватившей западные области. Мы, встревоженные, поехали к Гали Павловне, чтобы узнать от ее мужа о реальном положении вещей, и таким образом познакомимся с их семьей. Мариан Богданович заверил нас, что случаи полиомиелита действительно были, но они очень редки, и о распространении, тем более об эпидемии, не может быть и речи.

Мы, успокоенные, вернулись, через пару дней Володя выздоровел и все забылось. Гали Павловна и сам Мариан произвели на нас впечатление счастливой пары, у которой имелось все: прочное положение в партийной элите, прекрасный коттедж, материальные привилегии, двое прекрасных ребят – чего бы более? Оказывается, можно желать большего, человеческие амбиции не измеримы ни в каких единицах и вообще бесконечны, как у пушкинской старухи с разбитым корытом.

В 1958 году Гали Павловна встретила с Михаилом Михайловичем в Праге, и они произвели впечатление друг на друга. Гали понравилась идея стать женой академика, переехать в Москву и играть первую роль (а на меньшее она, наверное, не рассчитывала) в академических кругах. Однако были препятствия: Шемякин был женат, Гали Павловна тоже была замужем и имела сыновей. Но мы живем в XX веке, и эти детали не должны были смущать культурных людей. Правда, Шемякин, по-видимому, колебался. В 1959 году на небольшом симпозиуме в Вильнюсе, организованном Гали Павловной от имени Литовской академии наук, он спросил меня, что она за человек. Я, ничего не зная об их отношениях, сказал, что хороший, что у нее образцовая семья, и прибавил еще что-то, уже не интересовавшее Шемякина.

И вот в конце 1959 года мы с изумлением узнаем о браке академика М.М. Шемякина с кандидатом химических наук (она к тому времени успела защитить диссертацию) Г.П. Кугатовой, которая через некоторое время была зачислена в штат нашего института. Трудностей с Эддой Марковной, женой Михаила Михайловича, не было: как я говорил выше, она была для него готова пожертвовать всем. А вот в Вильнюсе дело вначале стопорилось, затем развод все-таки был оформлен, но случилось невероятное в XX веке событие: бывший муж застрелился. Задним числом Гали Павловна уверяла своих

знакомых, что у Мариониса была шизофрения, причем многие ей охотно верили.

Состоялись похороны, на которых присутствовала Гали и приехавшая из глубинки мать Мариониса. И вот на кладбище бывшая свекровь обвинила Гали в смерти своего сына и в жестоких традициях уже не XX, а, наверное, XVI века прокляла в красочных литовских выражениях свою бывшую невестку и ее нового мужа. Гали немедленно упала в обморок, впечатление было потрясающее. Об этом потом узнал и Михаил Михайлович и позже не раз говорил: «На мне тяготеет проклятие».

Но все это произошло в каком-то далеком Вильнюсе, в Москву новости пришли с опозданием, да ими особенно и не интересовались, а ход жизни новой супружеской четы шел нормальным путем. Гали Павловна говорила всем, что ее второй сын, родившийся в 1954 году, – сын Михаила Михайловича, говорила так часто, что даже сама в это поверила.

В сентябре 1960 года в Швейцарии проходил симпозиум по синтезу пептидов, где должен был присутствовать Шемякин, который к этому времени организовал соответствующую лабораторию. Но он заболел, и оформление научно-туристской группы поручили Николаю Константиновичу. В группу были включены Гали Павловна и я.

Поездка обещала быть весьма интересной, каковой и оказалась. Тема симпозиума была далека от моих интересов, так что никаких воспоминаний о нем у меня не сохранилось. А вот Базель мне понравился: это благоустроенный, ухоженный город большей частью старомодной архитектуры, но с первоклассной фармацевтической промышленностью. В нем обосновались такие зубры современной химии как CIBA, La Roche, Geigi и Sandoz. На фирму Hoffmann – La Roche нам организовали экскурсию, и я воочию убедился, каким чистым может быть химический завод наших дней. Само расположение Базеля весьма благоприятствовало деятельности этих фирм: чистая голубая вода Рейна, берущего начало в Швейцарских Альпах, образованный и традиционно работающий народ и рядом (3–5 км) такие мощные рынки сбыта (и снабжения), как Франция и ФРГ.

Последующее турне по стране было восхитительным. Мы побывали в Женеве, Лозанне, Цюрихе, Люцерне, Невшателе и в Итальянских Альпах. Проезжали по местам, откуда были видны блистающие снегами Юнгфрау и Маттергорн. Погода нам благоприятствовала, и мы видели Швейцарию в ее лучшем одеянии и, я бы сказал, в праздничном настроении. Спокойствие, благополучие, уверенность и труд, неторопливый, но продуктивный – такое у меня осталось впечатление от этой маленькой страны, которая более 150 лет не знала, что такое война.

В Люцерне меня поразили своим замыслом и красотой памятник швейцарским солдатам, защищавшим Тюильри в 1792 году от разъяренной парижской черни. Они оставались верны присяге до последней минуты, и родина воздала должное их памяти, заказав монумент самому Торвальдсену. В Женеве меня пленило озеро, Монблан и сам город, красивый и веселый. Мы посетили Дворец наций, законченный постройкой в 1939 году, когда бессилие Лиги Наций перед агрессией сделало строительство бессмысленным. Но все же и сейчас Дворец наций используется как форум для многочисленных совещаний и конференций, хотя построен был для более грандиозной цели.

И вот здесь я должен упомянуть одно событие, ничтожное само по себе, но с большими последствиями. Не помню где, то ли в Лозанне, то ли в Люцерне, мы утром садились в автобус, торопясь на какую-то экскурсию. Собрались все, кроме Гали Павловны. Прошло пять, десять минут, ее все не было. Кто-то побежал за ней в номер, наконец она появилась (мне говорили, что с ней было нехорошо). Кочетков, нетерпеливо ерзавший на своем месте, обратился к ней не очень сдержанно и не скрывая своего недовольства: «Гали Павловна, это как-то не по-товарищески заставлять всех нас столько ждать!» Она ничего не ответила, но лицо ее стало каменным. После она высказала

другим свое возмущение грубостью Николая Константиновича и до конца нашей туристической поездки с ним не заговаривала.

С этого все и началось. Полагаю, что по возвращении в Москву она самыми черными красками описала грубость Кочеткова, очевидно, прибавив кое-что от себя. Трудно гадать, какие потом были разговоры в семье Шемякиных, но их направленность не оставляла сомнений: Кочетков не только нахал и грубиян, но он делает все, чтобы институт стал его вотчиной, он говорит про М.М. ужасные вещи, сколачивает свой клан и т. д., и т. п. Шемякин был весьма чувствителен ко всякому посягательству на его положение и влияние, он сам был искушен в искусстве интриги, и, мне думается, не составило особого труда убедить его принять воображаемое за действительное.

Вскоре Гали Павловна нашла себе и союзника. Среди молодых аспирантов, набранных Шемякиным с начала организации института, выделялись два наиболее обещающих: Овчинников Ю.А. и Кирюшкин А.А. Оба вскоре успешно защитили кандидатские диссертации и были направлены в Цюрих на стажировку к В. Прелогу. Овчинников быстро завязал дружбу с Гали Павловной; такому красивому и высокому парню ничего не стоило ее очаровать, тем более что он прекрасно разбирался в химических вопросах и был ей в этом отношении полезен, особенно при написании докторской диссертации. Таким образом, он стал вхож в семью Шемякиных и, думаю, использовал это на 100%. Шемякин, правильно оценив его энергию и напористость, начал склоняться к мысли (поданной Гали) сделать его своим помощником не только по лаборатории, но и по институту. А если так, то для чего Кочетков? Надо же омолаживать кадры!

К концу 1962 года намерения Шемякина вполне определились и после нескольких неприятных разговоров за закрытой дверью Николай Константинович отказался от поста заместителя директора института, для организации которого он так много сделал. Рикошетом все это отозвалось и на мне, так как мое дружеское отношение к Кочеткову было всем известно. Все это я понял в начале 1963 года.

Может показаться, что я что-то преувеличиваю, даже больше – фантазирую. Увы, нет, скорее смягчаю тона. В одном я уверен бесспорно: злобное, мстительное чувство, родившееся у Гали Павловны и Михаила Михайловича, развивалось дальше и дальше и сделалось какой-то навязчивой идеей.

Косвенным доказательством для меня служит отношение Гали Павловны к Виктору Федоровичу Кучерову, с которым она работала аспиранткой и потом как прикомандированный сотрудник. Как-то раз Кучеров позволил себе отпустить на ее счет колкое замечание (у него была неприятная манера делать «булавочные уколы»), и через несколько лет об этом вполне можно было бы забыть. Но нет! В 1965 году (может быть, несколько позже) Шемякин был председателем комиссии, обследовавшей научную и организационную деятельность Института органической химии, где, кстати, он нашел прибежище для своих многочисленных сотрудников, пока реконструировалось здание Горного института (а это заняло больше года). Он с особой яростью обрушился на лабораторию В.Ф. Кучерова (тот в то время уже стал преемником Назарова), высказав мнение, что ее надо ликвидировать. Всех, знающих состояние дел в институте, и вообще всех органиков это выступление возмутило как полнейшей научной несправедливостью, так и формой нападок. По счастью, Институт органической химии не пострадал (или мало пострадал) от заключения комиссии, но Кучерову был нанесен сильный удар. Вендетта свершилась! И о ней мне с удовольствием рассказывала сама Кугатова.

КОРОТКАЯ «ОТТЕПЕЛЬ» СМЕНЯЕТСЯ ПЕРИОДОМ «ЗАСТОЯ»

В 1964 и 1966 годах у меня были очень интересные поездки за границу. По приглашению Французского химического общества (не без содействия Уриссона и

Ледерера) я провел во Франции целый месяц (в январе – феврале). Готовясь к поездке, я взял несколько уроков разговорного французского языка, что было не только полезно, но и благоразумно. Дело в том, что русские химики, приезжавшие до сих пор во Францию, или вообще не знали языков (как И.Н. Назаров), или знали только английский. Мир изменился: если начиная с XVII века каждый образованный человек должен был знать французский, если на всех съездах, политических конгрессах именно он был рабочим языком, то после Второй мировой войны международным стал язык победителя и самого богатого государства в мире – Америки. Французы остро чувствовали свою ущемленность, потерю культурного и научного влияния, которое в течение трех столетий (а может быть, и больше) было бесспорным. И тут приезжает русский ученый, говорит на их языке, знает историю страны и ее культуру – ну как не оказать сердечное гостеприимство такому человеку! И меня не только внимательно слушали в научных аудиториях и осыпали вопросами, но охотно приглашали на домашние обеды, что за границей, и особенно во Франции, является большой честью.

Кроме Парижа (и его пригорода Жиф-сюр-Иветт, где помещался Институт химии природных соединений, руководимый Ледерером), я был в Марселе, Монпелье (гостем профессора Винтерница) и специально остановился в Авиньоне – месте, где кончил свою недолгую и блестящую жизнь Иван Николаевич Назаров. Бродя по Авиньону, бывшей резиденции пап (в течение почти 70 лет), я с горечью отметил, что сохранение исторических памятников во Франции и, тем более, их реставрация стоят на недопустимо низком уровне. Авиньонский собор был варварски разграблен и частично разрушен в период якобинской диктатуры 1793–94 годов и до сих пор находится в жалком состоянии. Но когда через два года я увидел развалины Римского форума, то пришел к выводу, что это общемировое явление: люди предпочитают сохранять руины, реконструкцию считают вещью дорогой и бесполезной, ибо воображение человеческое само должно быть реставратором.

Мое положение в институте оставалось прежним, то есть «меня терпели». Кочетков в 1966 году ушел на должность директора Института органической химии, который так беспощадно разнес Шемякин. В то время ИОХ находился в другом отделении АН СССР и Шемякин в организационном плане уже не мог нанести непосредственный вред Кочеткову (и его институту), о чем в частных разговорах очень сожалел. Но он поклялся (буквально), что пока он будет жив, Николай Константинович в академики не пройдет. Печально, но его агитация в академических кругах в этом смысле была успешной, и Кочетков стал академиком только в 1979 году (членкором он был выбран в июне 1960 года, то есть до швейцарского инцидента).

Все шло прекрасно у Шемякина: возрастало его влияние в Академии, явно увеличивался международный авторитет, благодаря работам его талантливых учеников; повторяю, все было замечательно, кроме положения в его новой семье. После 5–6-летней внешне безоблачной супружеской жизни на Гали Павловну обрушился удар судьбы. Это случилось в 1966 году. Она была в Душанбе на какой-то конференции, и после ее окончания, когда она ожидала рейсового самолета в аэропорту, ей внезапно стало дурно, и она упала, ударившись затылком и спиной о бетонный пол. Самое неудачное и опасное падение! Когда ее привезли в Москву, обнаружилось, что она почти не может ходить; врачи предполагали какое-то повреждение нервов спинного мозга. Созвали консилиум²,

² В феврале 1991 года я имел случай беседовать с врачом, которая как кардиолог и невропатолог была приглашена на этот консилиум. Гали произвела на нее впечатление явной шизофренички. Таково же было мнение и другого врача – психотерапевта. Из жалости к М.М. Шемякину эти выводы не были включены в официальный диагноз.

назначили лечение, прибегли к физиотерапии, ультрафиолетовому облучению, в общем, испробовали весь спектр медицинских средств, но улучшения не наступило.

Большей частью Гали сидела в постели, читала химическую литературу, выслушивала своих сотрудников (у нее была довольно большая лаборатория), давала им указания, но выходить или, тем более, выезжать она не могла. Это положение калеки ее страшно мучило, один раз она даже пробовала отравиться и приняла большую дозу снотворного, но супруг вовремя это заметил, и ее спасли. Домашнее хозяйство пришлось отдать на откуп приходящим женщинам, и, помимо многих неудобств, это повлекло большие расходы, чувствительные даже для кармана академика.

В общем, мечты Гали о том, чтобы быть первой дамой в Академии, не сбылись; реальностью стала жизнь в четырех стенах. Но следуя импульсам своей нервной (психопатической?) натуры, она собирала всю доступную информацию о ходе дел в институте, в Академии и вмешивалась в административную деятельность супруга самым активным образом. Еще и еще раз повторяю: миром управляют страсти.

Шемякин сильно переживал ее несчастье, он действительно был привязан к Гали и делал все, что мог, для облегчения ее страдальческого положения. К ее детям он относился хорошо, они платили ему послушанием и почтительностью.

В феврале 1966 года по приглашению Королевского химического общества я посетил Англию, где был три недели. Инициатором этого престижного приглашения был сэр Дерек Бартон, который и встречал меня в лондонском аэропорту. Мой лекционный тур включал Имперский колледж в Лондоне, Манчестерский, Глазговский и Страрклайдский университеты, а также Кембридж и Оксфорд. Поездка была вполне успешной, но я еще и еще раз убедился, как трудно овладеть пониманием беглой английской речи. Во Франции это тоже чувствовалось, но в меньшей степени.

Конечно, я выкроил пару дней для визита к Лесли Джонсону в Саутгемптон и наша встреча была самой сердечной: по этому поводу он даже устроил обед, пригласив своих близких друзей. В Манчестере мне посчастливилось познакомиться с профессором Артуром Берчем, чей способ восстановления ароматических соединений вошел впоследствии во все руководства по органической химии; мы в своей лаборатории также его использовали. У нас завязался не только интересный разговор, но и дружеские отношения. Впоследствии он не раз приезжал в Россию, затем уехал в Австралию, где стал президентом Австралийской академии наук ...

Через два года, в 1968-м, мне выпала удача быть в Англии еще раз в качестве научного туриста на симпозиуме по химии природных соединений. Это было в июне, и Англия выглядела много лучше, чем зимой. По окончании симпозиума туристская компания организовала для нас поездки в Кембридж и Эдинбург. С нами был и Михаил Михайлович, который, по его словам, предпочел на этот раз быть не в роли официального делегата, связанного программой, а в роли свободного туриста. Мы вместе гуляли по Эдинбургу, много говорили об Англии, ее истории и об искусстве, и мне было приятно видеть в Шемякине не амбициозного карьериста, а нормального культурного человека. К сожалению, страсти в нем вскоре опять заслонили простые человеческие чувства.

В это же время я совершил очень приятную поездку вместе с доктором Линни, который перед этим полгода стажировался в нашей лаборатории, показал себя хорошим химиком и весьма способным в изучении русского языка. За шесть месяцев он научился довольно бегло говорить, а самое главное – понимать русскую речь. Мы целый день провели в сельской местности у его родителей, милых и гостеприимных людей. В разговоре с ними я убедился, что простые англичане уважают своего полководца Монтгомери и вообще гордятся своей ролью в прошедшей войне. Что же, они имеют на это право: в течение года Англия один на один боролась с могущественным,

беспощадным и коварным врагом. Правда, ей помогала (я бы не сказал, что в большой степени) Америка, но ведь и нацистской Германии помогал (по недомыслию и просто глупости его вождей) Советский Союз, поставляя горючее, продовольствие и многие виды сырья для военной промышленности.

Пожалуй, следует отметить еще поездку в Италию в мае 1966 года на конгресс по стероидам, состоявшийся в Милане. Она была организована по линии научного туризма и организована блестяще. Кроме Милана, мы побывали на озере Комо, во Флоренции, Риме и Венеции, то есть в лучших городах Италии. Более того, мы летели в Милан через Брюссель и Париж, и в Париже, где надо было ожидать самолета четыре часа, нам устроили поездку по городу. Обратного мы возвращались в Москву не самолетом, а поездом из Рима через Венецию (где у нас было два часа, чтобы еще раз осмотреть эту жемчужину Адриатики), Вену и Варшаву. В Вене в ожидании поезда мы имели в распоряжении около пяти часов и не только пообедали в превосходном ресторане, но и совершили sightseeing tour по городу. Так что впечатлений, и прекрасных впечатлений, у нас было в избытке.

Мы за одну поездку видели и Париж, и Венецию, и Рим, и блестящую Вену. Вена действительно прекрасный город, а австрийцы, судя по их одежде, улыбкам и живости в разговоре, довольны своей столицей и своей судьбой. Утром Венеция, перед закатом солнца Вена – что же, жить можно! С таким чувством мы вечером садились в вагон «Москва – Рим». Но когда поздним утром мы проснулись и глянули в окошко, то невольно застонали от представившейся нам картины – мы ехали по «социалистической» Польше. Уж очень разителен был контраст между австрийским и польским пейзажами: серые старенькие избы, серенькие ветхие станционные домики, люди в серой поношенной одежде. В общем, мы въехали в царство «развитого социализма», как успел окрестить нашу систему уже дважды Герой Советского Союза недотепа Брежнев. Я сказал «недотепа» только в том смысле, что Леонид Ильич был обделен Господом Богом умственными способностями, но это не значит, что у него их вообще не было. Для генсека, то есть человека, возглавляющего партийную мафию, ума у него хватало, власть он держал крепко и сплотил вокруг себя таких же, как и он сам.

1969 год мне запомнился поездкой в Мексику на конференцию по химии природных соединений в конце апреля. Беспосадочный полет Москва – Нью-Йорк был изнурительным, но Атлантический океан, сиявший в лучах весеннего солнца, зеленоватые льды Гренландии, вдоль которой шел наш путь, вид Нью-Йорка – все это было замечательно. Нас на конференции было только двое от Советского Союза (остальным американское посольство не дало транзитных виз – небольшой штрих холодной войны), и моим партнером был академик АН Латвийской ССР Соломон Аронович Гиллер, очень достойный человек и химик высокого класса. Мы вместе ходили по огромному городу Мехико, посещали музеи, провели воскресный день в парке Сочимилко, где катались по каналам на лодке, в общем, вели себя как заправские «научные туристы».

Оргкомитет конференции организовал для участников выезд за город с ужином в районе мексиканских пирамид, которые не так огромны, как египетские, но под бархатным звездным небом, будучи подсвечены прожекторами, представляли сказочное зрелище. После закрытия конференции мы совершили небольшое путешествие (всего на сутки) в Акапулько, прекрасное курортное место на берегу Тихого океана, с удовольствием поплавали в теплых волнах, оценили местную рыбную кухню и согласились с мнением американцев, что курорт вполне может поспорить с пляжами Кубы.

На обратном пути в Нью-Йорке нам пришлось ждать почти двое суток рейса «Аэрофлота», и я имел возможность познакомиться, хотя и бегло, с самым большим

городом Соединенных Штатов. Впечатление было смешанным: центральная часть (Манхэттен), с картинными галереями, музеями, громадным парком и роскошными магазинами, удовлетворила бы самого взыскательного путешественника, но боковые улицы (streets), с их стандартными домами и неубранным мусором, заставляли удивляться, почему такой богатый город не может привести себя в порядок. Конечно, вечером я с удовольствием прошелся по сверкающему тысячами огней Бродвею вплоть до темной, глухой и пустынной улицы, куда (я узнал об этом позже) вечером заглядывать небезопасно.

Интересная деталь: когда я улегся спать, не заперев двери, то дежурный отеля вошел ко мне, разбудил и разъяснил, что на ночь надо запирает дверь на ключ и закладывать цепочку, иначе могут быть неприятности (то есть ограбление). «Вот те на! – подумал я, – в центре Нью-Йорка, в первоклассном отеле человеку, оказывается, не гарантируется безопасность». Сколько же должно быть человеческого отребья в этом огромном городе, которым Америка так гордится! Во время моего второго визита в Соединенные Штаты десять лет спустя я уже этому не удивлялся.

1970 ГОД

В начале 1969 года М.М. Шемякин объявил всем научным сотрудникам, что следующий международный симпозиум по химии природных соединений состоится в Риге в 1970 году и его организация является первоочередной задачей нашего института. Все должно быть подготовлено и сделано «по высшему классу», расходы не имеют значения. Шемякин рассматривал симпозиум как свое личное дело и как венец своей научной и административной карьеры. Расходы для такого «тоталитарного» размаха действительно были (по академическим масштабам) огромны, но правительство оказалось великодушным и одобрило это мероприятие. Советский Союз в это время начал экспортировать большие и все увеличивающиеся количества нефти и газа, цены на которые, благодаря ближневосточным событиям, сильно возросли, и поступления валюты в государственную казну были как никогда велики.

Оккупация Чехословакии вызвала в западных научных кругах самую отрицательную реакцию, и можно было опасаться бойкота симпозиума. Но до этого дело не дошло, тем более что приглашенным участникам (я имею в виду, прежде всего, пленарных докладчиков и их жен) оплачивались все расходы, включая транспортные, по первому классу, предлагались (бесплатно) поездки по стране с посещением таких привлекательных мест, как Ленинград, Киев, Одесса, Крым и Кавказ (не говоря уже о Москве), и т. д., и т. п.

Личный авторитет Шемякина, его энергия и деньги – все, вместе взятое, обеспечило успех симпозиума. Говоря об энергии Шемякина, я имею в виду, прежде всего, что его правой рукой был Овчинников (к тому времени ставший уже членом-корреспондентом), на которого в основном легли многочисленные (и требовавшие догадки и инициативы) переговоры и согласования с различными академическими и партийными инстанциями. Эти личные связи с боссами партаппарата впоследствии обеспечили Овчинникову его дальнейшее продвижение.

Симпозиум в Риге удался на славу. Это был звездный час Михаила Михайловича. Приехали самые известные химики из всех стран мира: лауреаты Нобелевской премии Роберт Вудворд (США), сэр Дерек Бартон (Англия), Корана (США – Индия). Но среди знаменитостей первой величины не было Шорма. В 1968 году, когда советские войска вошли в Прагу, он не смог сдержать своего возмущения и направил письмо президенту нашей Академии с осуждением оккупации и страстным призывом протестовать против возмутительного насилия. Ответ последовал незамедлительно: по команде чешского

квислинга Гусака Шорм был отставлен от должностей президента Чехословацкой академии наук и директора Института химии и биохимии³.

Организация симпозиума, долго и тщательно подготовляемая, работала без осечки. Участникам были предоставлены все удобства и возможности. Сама погода была как по заказу: всю неделю, пока длился симпозиум, не появилось ни облачка (был конец мая). Иностранцы в частных разговорах не скрывали своего восхищения работой оргкомитета. Доклад самого Михаила Михайловича, включивший наиболее выдающиеся достижения советских биооргаников, прошел также с успехом. О других докладах и работе секций я не буду распространяться – все шло как по маслу.

По традиции на 26 июня был назначен заключительный банкет. Хорошо помню, как я спускался по лестнице в банкетный зал, рядом со мной шла японка, разодетая как бабочка – в праздничном кимоно, и вдруг внизу лестницы я увидел моего друга Антонова и нашего «американца» Жоржа Пека, о чем-то совещавшихся с мрачными лицами. Я подошел с вопрошающим взглядом, и громом мне в уши ударила фраза: «Михаил Михайлович умер».

Это случилось за два часа до банкета⁴. Шемякин вместе с Жоржем Пеком выехали из Риги на дачу, где они жили, с тем чтобы привести себя в праздничный вид. Вдруг дорогу перебежала кошка. Михаил Михайлович велел резко затормозить (он, повторяю, был суеверен) и разрешил ехать дальше только после того, как мимо пронеслось несколько машин. Минут через пять он, вероятно, почувствовал себя плохо, так как вынул коробочку с лекарствами и проглотил сразу несколько таблеток. Когда они подъехали к даче, М.М. с трудом вылез из машины и готовился подняться по лестнице (он жил на втором этаже). Жорж настаивал, чтобы он отдохнул внизу, но он махнул рукой и пошел наверх. На втором этаже он сделал несколько шагов и упал. Через 3–5 минут все было кончено.

Банкет отменили, а на следующий день церемония закрытия симпозиума превратилась в подобие гражданской панихиды. Каждый выступавший (почти сплошь иностранцы) воздавал должное Михаилу Михайловичу как первоклассному ученому и выражал соболезнование его ученикам и коллегам.

Гали Павловна узнала о смерти мужа с большим запозданием, так как Овчинников распорядился отключить ее телефон от междугородней связи. Юрий Анатольевич предпочел объявить ей об этом лично по приезду в Москву. Вместе с А.С. Хохловым они заверили, что институт окажет ей любое содействие и помощь, а ее статус заведующей лабораторией останется неизменным. Я тоже считал своим долгом навестить Гали и старался смягчить ее горе.

После вскрытия и медицинской экспертизы было обнаружено (неожиданно для врачей), что помимо обширного инфаркта, послужившего непосредственной причиной смерти, у М.М. был неоперабельный рак легких с метастазами, и ему оставалось жить не больше года. К немалому удивлению оказалось, что на сберкнижке у академика было всего несколько сот рублей, остальное ушло на лечение Гали и хозяйственные расходы. В результате положение семьи стало более чем затруднительным, а перспективы мрачными.

Все, на что надеялась Гали Павловна, чего она добивалась ценой огромных жертв, пошло прахом. Она прекрасно понимала, что, несмотря на все заверения, ей, калеке, потерявшей влияние, которым она пользовалась до сих пор, грозит бедность и забвение.

³ На этом дело не кончилось. Спустя год или два у него отняли лабораторию, так что он уже не мог вести научную работу. За границу его не выпускали. Шорм не вынес этих издевательств и в 1980 году скончался.

⁴ Передаю все со слов Жоржа Пека.

Такое будущее ужаснуло ее, и она, пренебрегая своим долгом перед детьми, решила уйти из этого грешного мира. Во второй раз большая доза снотворного, на сей раз без осечки, помогла ей перерезать нить жизни. Так закончился впечатляющий и печальный акт Человеческой комедии, картины бурных и всепоглощающих страстей.

Овчинников стал исполняющим обязанности директора нашего института, а через несколько месяцев был выбран академиком и утвержден директором. Такое быстрое продвижение по академической лестнице было обусловлено не столько научными достижениями руководимой им лаборатории (а они были!) и даже не столько его энергией и волей, вызывавшими доверие, но в значительной степени личными связями с академиками отделения, которые образовались, когда Шемякин вводил своего «кронпринца» в «высший свет». Едва ли бы это случилось, если бы Михаил Михайлович был жив; он бы все-таки его придержал по разного рода соображениям, но такова была судьба. Овчинников пробыл нашим директором 17 лет.

Многие, если не все, считали, что для института, для научных сотрудников начнется новая эра. Экспансивность, вспыльчивость и непоследовательность Шемякина нервировали людей и мешали работе. Как я упомянул выше, моя лаборатория страдала от этого, может быть, больше других.

Действительно, примерно 4–5 лет мы работали в спокойной обстановке, а хорошее отношение ко мне Овчинникова простерлось до того, что в 1972 году он выдвинул (и поддержал) мою кандидатуру в члены-корреспонденты АН СССР. Надо сказать, что я пытал счастье в этом отношении в 1964 и 1966 годах. В 1964-м я впервые подал соответствующие документы по инициативе Шемякина, хотя он намекнул, что будет поддерживать не только меня, но и Хохлова. Поэтому избрание Хохлова я воспринял как справедливый акт (у Хохлова научных достижений было гораздо больше, чем у меня). Но когда в 1966 году при одобрении Михаила Михайловича я попытал счастья во второй раз и понес поражение, мне стало ясно, что Шемякин обманул меня в своей поддержке и я играл роль «темной лошадки». Поэтому на выборах 1968 и 1970 годов я своей кандидатуры уже не выдвигал, несмотря на предложения М.М. В 1972 году все было иначе, и я был выбран подавляющим большинством членов отделения (насколько я помню, «черных» шаров было положено всего два). Для меня и моей семьи это была большая радость, мои сотрудники также разделяли ее от всего сердца.

Большим научным и, я бы сказал, моральным успехом для меня явилось внедрение нашего способа получения стероидных гормонов в производство. К сожалению, это было достигнуто не в нашей стране, а за рубежом, именно на фирмах Jeparpharm (Йена) и Schering (Западный Берлин). До сих пор вспоминаю чувство удовлетворенной гордости, когда я в 1979 году увидел воочию небольшие аппараты на Jeparpharm, где проводились наши реакции, и упаковку уже полученных стероидных препаратов. Значит, я действительно что-то сделал и для науки, и для людей!

Справедливость требует сказать, что хотя наша схема была основой процесса, немецкие химики нашли для одного компонента очень простой (а следовательно, и дешевый) способ получения, а также ввели стадию микробиологического восстановления, что открыло доступ к оптически активным изомерам (это было важно для медиков). Не стоит входить в химические детали, повторю лишь еще раз, что внедрение наших (вместе с С.Н. Ананченко) достижений в практику явилось замечательным успехом. Можно спросить, а имели ли мы от этого какую-то материальную прибыль? Сразу скажу «нет», так как в 1960-х годах мы не думали о патентовании, да и сам процесс патентования за границей еще не был ясен.

Ну а как Овчинников организовал работу института? Начну с хорошего. Поднимаясь по служебной лестнице (а в 1974 году он стал вице-президентом Академии наук), он

получил возможность распоряжаться большими средствами Академии и, следовательно, снабжать институт первоклассным научным оборудованием и заграничными реактивами. Более того, ему удалось заинтересовать военных проблемой изучения природных токсинов и получить под это дело не только деньги, но и материалы для строительства нового института. Проект был составлен с тоталитарным размахом, и в настоящее время Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина является лучшим институтом в секции химико-технологических и биологических наук. Строился он 10 лет с учетом всех достижений, которые Овчинников видел в лучших научных и фирменных лабораториях мира. Институт носит имя Шемякина, но, по справедливости, ему надо было присвоить имя Юрия Анатольевича⁵.

Не омрачая добрую память человека, занесенного навсегда в список выдающихся химиков мира, должен отметить и темную сторону его «правления». Ему не хватало широты химического мышления, в результате он сосредотачивал внимание (и средства) лишь на проблеме строения белков, другие же области ему казались второстепенными или даже «выходящими из моды».

В обращении с научными работниками, включая заведующих лабораториями, он держался командно-приказного тона, что было бы совершенно невозможно для академика Несмеянова или Семенова. Я уже не говорю о его собственных сотрудниках, которые страдали больше всех от его окриков и грубостей. Пословица – власть портит человека – полностью была приложима к Овчинникову. По-видимому, он взял такую командную манеру у наших партocrats и генералов, которые в 1970-е годы упивались своей властью и призрачными успехами и на которых Юрий Анатольевич сделал свою жизненную ставку.

Психологически это трудно понять. Отец Овчинникова погиб в 1938 году, в эпоху «большого террора», и его сын должен был бы питать если не отвращение, то неприязнь к большевизму и его методам, основанным исключительно на грубом насилии. На деле он был как бы заморожен этой властью и копировал ее действия. Странное совпадение: он ушел из жизни в 1988 году, когда одряхлевшее и насквозь прогнившее дерево старой политической системы треснуло и свалилось. Никто не предполагал, что пышущий здоровьем, спортивный мужчина в возрасте 52 года будет поражен неизлечимой болезнью, острым лейкозом, сведшим его в могилу менее чем за год. Говорили, что еще была возможность отсрочить фатальный исход на несколько лет пересадкой костного мозга от его брата (и брат давал на это согласие), но Юрий Анатольевич колебался, и подходящий момент был упущен. Помню, что примерно за две недели до смерти он пришел на ученый совет, и я был поражен его видом. Это был скелет в элегантном костюме (он всегда следил за своей одеждой), и рука, которую он мне подал, была бледной рукой мертвеца. Несмотря на недостатки своего характера, на диктаторские замашки, он оставил по себе и добрую память, и прекрасный памятник – Институт биоорганической химии.

⁵ Это было сделано в 1992 году, и с этого времени институт носит имена Шемякина и Овчинникова.